

ЯН ВОРОЖЦОВ

18+



В ЖАРЕ ПЫЛАЮЩИХ ПИХТ

Ян Михайлович Ворожцов

В жаре пылающих пихт

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=65838637

SelfPub; 2023

Аннотация

Кареглазый ковбой, пиноккио дикого запада, в компании с длиннолицым наемным стрелком и горбоносим маршалом идут по следу приговоренного к смерти Оуэна Холидея. Ведомые жаждой мести, денег и справедливости, они оказываются в неназванных отдаленных краях, где царит беззаконие. В пути им встретится юный вождь индейских детей Красный Томагавк, кого ищут банды головорезов и его самозванный отец, беглый раб по имени Барка.

Содержание

Глава 1. Древнейшая из глин	4
Глава 2. Раскрасить городишко в красный	24
Глава 3. Дни как решетки на окнах	41
Глава 4. Хлеб для людоеда	64
Глава 5. Все человечество	84
Глава 6. На корм свиньям	93
Глава 7. И нечему больше гореть	109
Глава 8. Пусть дети смотрят	117
Глава 9. Колода тузов	142
Глава 10. Я убью их голыми руками	151
Глава 11. Горе рожаящим	167
Глава 12. Либо я, либо моя могила	195
Глава 13. Не оскудеет чаша их	215
Глава 14. Смех человеческий	231
Глава 15. Ты держишь в руках камень	257

Ян Ворожцов

В жаре пылающих пихт

Глава 1. Древнейшая из глин

Их трое – черные фигуры на черных лошадях. Непрерывно движутся от зари до зари. Длинные тени в холодной уходящей ночи. На головах потрепанные припорошенные пеплом шляпы. Двое из них, кареглазый и горбоносый, как в фартуках, в выцветших под солнцем пропотевших пончо, а третий, длиннолицый, в старой куртке. У кареглазого брови и ресницы светлые-светлые, будто выгорели от адской жары на солнце бесконечно сменяющихся дней, которые тасует ловкая рука шулера. Настоящие имена эти трое в здешних краях не произносили – так и были друг для друга кареглазым, горбоносым и длиннолицым.

Полоса красной кровоточивой зари и далекий шлейф вулканического пепла возвещают об их пришествии. В небе мечутся покрытые пылью задыхающиеся птицы, похожие на иссушившихся адских грешников. Всадники молчаливой процессией двигаются по пустынной улице, вдоль припорошенных пепельно-серыми хлопьями бесцветных домов.

Черные фигуры на лошадях выглядят чуждо, непрощеными гостями, будто изгнанные проповедники отвергнуто-

го мировоззрения, что надели траур по утраченному знанию и давным-давно позабыли, что их объединяло, если вообще помнили.

В сажевых окнах виден блеск зажженных свечей, горящих в мире, который еще не забыл, что такое свет. Кругом тишина, ни одной живой души. Они минуют бледные гикори и жухлый сад, оставляют лошадей и одного единственного зачухавшего мула, нагруженного пожитками, подвязав их за чембуры к коновязи у гостиничной площади. Дорожка, ведущая сквозь убогий выгоревший сад, испещрена цепочкой рифленых следов поверх свежесвыпавшего слоя сухого пепла.

Горбоносый втаптывает окурок и утирает рот. Сухие темно-фиолетовые губы оттенка приютели шелестят в недовольном ворчании. Кареглазый топчется с ноги на ногу.

– Благоразумно ли тут лошадей оставлять? – спросил он.

– А где их еще оставлять? – с усмешкой поинтересовался длиннолицый.

– Воздух тут, что в твоём дымоходе...

– Ты в мой дымоход не заглядывай, парень, я там золотишко прячу.

– Ничего с твоей лошадыю не сделается, – убежденно сказал горбоносый.

Гостиница выглядела как издыхающий чахоточник. Длиннолицему открыл дверь черноволосый привратник в безрукавной одежде, и все трое вошли в заполненную бледно-белыми людьми залу, где было темно и туманно даже несмотря

на то, что темнокожий мужчина зажигал повсюду многочисленные свечи.

Под потолком, оживляя дрожью пламени незатейливый водяной рисунок на штукатурке, сотней свечей пылала люстра. И хотя саму ее, окутанную пылью, было не разглядеть, но пламя ее отдаленных звезд рождало мнимое гало. Длиннолицый сплюнул сквозь зубы, услышав неодобрительное цоканье за спиной, и утер губы рукавом. Свечи горели на подсвечниках. В простенки между громадных витражных, как в церкви, окон были ввинчены канделябры. Стекла серые, как печные заслонки. Плавающий изжелта-белый воск в течение дня принимал различные формы, постепенно превращаясь в своеобразные экспонаты кунсткамеры, демонстрируя все этапы жизни жуткого бесформенного существа, от рождения и до смерти. И в конце концов свеча потухала в уродливой восковой лужице, и та застывала, как гнущийся под песчаной бурей мусульманский аскет.

– Где этот мексиканский ублюдок? – буркнул длиннолицый.

Десятки людей, прячущихся в разноцветной полутьме, чувствуя себя древними очевидцами первых восходов и закатов, стояли здесь угольно-черной формацией сгущенной пыли, кашляя, перешептываясь. Они таяли в красном свете покачивающейся лампы как ледяные фигуры на маскараде в стране невиданных чудес, где их пронизывали трепет и благоговение, и всеобщая любовь в предвкушении второго при-

шествия.

Кареглазый, длиннолицый и горбоносый прошли мимо этих людей, но прежде, чем подняться по лестнице, кареглазый оглянулся.

– Hermanos! Куда это вы без меня?

Четвертый ждал их тут, вычищал грязь из под ногтей ножом. Желтоглазый мексиканец с жестким лицом.

– Где он? – пренебрежительно бросил длиннолицый.

– В конце коридора комната, – с едкой усмешкой отозвался мексиканец. – Справа.

Горбоносый подвигал челюстью.

– Он один?

– Sí, сеньор.

– Уверен?

– Как в том, что пути господни неисповедимы.

Горбоносый сунул ему скомканную бумажку.

– Хочешь больше?

– Чем больше mate, тем лучше.

– И не поспоришь. У тебя оружие с собой? Кроме ножа.

Мексиканец вытащил из-за ремня шестизарядник. Горбоносый скомандовал кареглазому следить за окнами снаружи. Длиннолицый поднялся по лестнице и прошел по коридору, звеня шпорами. Мексиканец и горбоносый последовали за ним.

Втроем они застопорились у двери, ожидая и прислушиваясь.

Немолодой мужчина в жилетке с перламутровыми пуговицами и галстукe, с черными взмокшими от пота волосами послушал, как кто-то негромко обменивается короткими репликами в коридоре за дверью.

Один голос ему был знаком. Голос федерального маршала.

Он торопливо пересек комнату, держа кольт в руке, подошел к окну.

На сандрике, толкая друг друга и курлча, скучились сизо-серые голуби. Мужчина приложил усилие в попытке бесшумно сложить дверь-перегородку балкона. Но безуспешно.

Послышался короткий стук, а затем голос.

– Холидей?

Мужчина застыл.

– Я знаю, что ты там. Открывай.

Нет ответа.

– У меня твои деньги!

Мужчина в комнате нервно облизнул губы. Прицелился.

– Ты там? Или решил заблаговременно скончаться, понимая, что у тебя попросту нет шансов.

– Кто это?

– Закон и порядок, – крикнул длиннолицый. – Открывай чертову дверь!

– Слушай, сынок, сдавайся по-хорошему! – предложил горбоносый. – Просто сложи оружие и открой дверь. И разойдемся тихо и мирно. Мы на попойку, ты – на виселицу.

Мужчина в комнате рассмеялся.

– Открывай! В последний раз говорю. Живым так и так не уйдешь.

– К хренам собачьим...

– Уж поверь. Мы таким, как ты, преступления с рук не спускаем. Убийцам женщин и детей.

– Лжешь! – огрызнулся Холидей. – Лжешь, грязная вертепная подстилка, сучья морда, я свои дела знаю!

– Ну, раз знаешь, то напоминать не придется. Открывай!

– Черта с два! Не вздумаете ломиться, я вооружен! Одно-двоих убью, а может, всех положу, но живым не дамся! Не знаю, сколько вас там, но не думаю, что больше четырех, – Холидей попытался открыть дверь балкона. – Стойте там!

Длиннолицый встал напротив двери и произвел несколько выстрелов до того, как горбоносый успел прервать его.

– Из ума выжил, мне его живым надо взять!

– А на кой черт? С трупом проще.

– Идеалы блюду законодательные.

– У свиньи под хвостом твои идеалы.

Холидей прятался за кроватью, приподняв голову и положив поверх простыни руку с кольтем.

– Убью!

Длиннолицый нагнулся и посмотрел через дырку от пули.

– Вижу паршивца.

– Где он?

Длиннолицый показал жестом и вытащил второй револь-

вер.

– Эй, синьор гаучо, подсоби делом, будь добр, э?

Вновь послышался обмен короткими репликами.

Дверь в комнату распахнулась от удара ногой. Старая щелка слетела с петель, и щепки рамы посыпались на пол. Темное помещение залил ослепительно-яркий свет; исходящий паром в пробивающихся из окна лучах солнца, как вампир, мексиканец впрыгнул в помещение и спустил курок.

Горлышко пустой вазы на подоконнике разлетелось на осколки. Холидей направил кольт и, заслоняясь рукой, выстрелил в проем, где обрисовались неясные очертания человека в соломенной шляпе.

Потянуло порохом, будто вышибли пробку из бутылки. Неожиданно свет сделался еще ярче, как если бы убрали какую-то преграду с его пути.

В запыленном воздухе поплыло пурпурно-розовое облачко. Пуля прошла сквозь кишечник, как через тряпку. На стену за спиной застреленного брызнула кровь. Стена была оклеена бледными обоями с бесцветными арабесками. Пуля проделала отверстие. Затрещала трехслойная переборка. Из черной дырочки заструилась тоненьким ручейком гипсово-меловая труха, как если бы просверлили мешок с песком. Обмякшее тело мексиканца грохнулось ничком, ноги на мгновение задрались кверху и упали, очертив дугу и глухо стукнувшись о дощатый пол.

– Мир праху, как говорится, – пожал плечами горбоно-

сьй.

– Он его застрелил, – сказал длиннолицый.

– Ага. Как собаку убил.

– Эй, кто стрелял!?! – послышался приглушенный крик откуда-то снизу.

Холидей сориентировался по теням и увидел, что стрелков двое. Оба вооружены. Он рванул прочь от кровати, пользуясь моментом, со скрежетом сдвинул складную перегородку, протиснулся на узкий балкон, перелез через декорированную ограду и, не дожидаясь ответного огня, спрыгнул вниз.

Продрался сквозь колючие кусты. Дыхание перехватило. По всем этажам гудела перепуганная публика, и уже слышался топот десятков ног, и полы дрожали не хуже чем короли в своих дворцах во время мятежа простолюдинов. Холидей бросился бежать, тяжело дыша. Кто-то выстрелил ему вслед из винтовки, но промахнулся. Затем выстрел повторился, но опять промах.

– Сучий сын! Я это запомню!

Чувствуя, что задыхается, Холидей нырнул в переулок и остался сидеть, прячась среди серых от пепла ящиков, где пахло рыбой и тленом. Он вдыхал пепел и выдыхал пепел. Его глаза жгло, ноздри словно выдыхали пламя, и каждое легкое в груди было как полбутылки с разбавленным виски.

Он закашлялся, захрипел и опять попытался бежать...

– Стой! Бросай оружие!

Глаза жгло. Холидей привстал на одно колено, положил пистолет на мостовую и, зажмурившись, вслушивался в приближающиеся шаги.

– Повернись!

Он не пошевелился. Медленно выудил из голенища нож и, когда говоривший подошел слишком близко, крутанулся, вслепую полоснув лезвием по воздуху и повалившись от удара каблуком в скулу.

– Чтоб тебя!

– Вяжите его.

Холидея связали по рукам и ногам, пока он возился в пыли, как большая вымоченная рыба, хватая ртом обжигающе-горячий воздух. Длиннолицый, утирая пот со лба, шагнул из тени.

– Ну вот и спета твоя песенка, – сказал он и хорошенько поддал ему металлическим носом сапога. Снял шляпу, пригладил волосы и опять надел.

Горбоносый, будучи занят тем, что скручивал для себя очередную папиросу, пробормотал:

– Ты арестован, Холидей, за убийство такого-то и такого-то. Ну, сам каждую свою зарубку знаешь...

– Дважды за одно преступление не вешают!

Горбоносый хмуро улыбнулся:

– Да, но тот суд был незаконный, продажными судьями, а теперь тебя по закону судить будут – как оно положено, а не спустя рукава. К тому же мы свидетели, что ты бедолагу

Мартина хладнокровно отправил к его праотцам.

– Хорхе, – напомнил длиннолицый.

– Хосе, – встрял кареглазый, – Хосе.

– Да кому какое дело!

– Он в меня первый выстрелил!

– А жилетка-то, жилетка! – сказал кареглазый. – На пуговицы погляди, каждая как самоцвет!

– С трупа, небось, снял, а? – с улыбкой предположил длиннолицый. Высокорослый, мрачный и ухмыляющийся, он стоял над преступником словно надгробье. Лицо потемневшее от усталости, иконописное, что лик святого, одаренное некой бездушной мистической красотой. В обшарпанную наплечную кобуру под курткой он сунул свой трехфунтовый пистолет сорок четвертого калибра с ореховой рукояткой и прицельной бороздой по всей длине рамы, пошевелил им под мышкой, укладывая поудобнее, и надменно, с кривоватой усмешкой на губах, красными глазами продолжал изучал преступника.

Холидея раздели почти донага. Связали ему руки и поставили на ноги.

– Погодите-погодите, а моя Персида!

– Кто?

– Персида, – затараторил Холидей. – Моя лошадь, я ее Персидой зову. Аппалусская караковая. Быстроногая как сам дьявол, будто из самой преисподней удрала и не горит желанием туда возвращаться. Ну что вы, братцы, я без Пер-

сиды моей не уйду, не могу! эта кобыла мне роднее, чем бла-
говерная моя, я ее примостил в платной конюшне, да это
здесь, у старины Билла!

Горбоносый кивнул:

– Поехали, парни.

– Клянусь своим кольцом, лошадь добрая!

– А я не откажусь от лишнего доллара, клячу можно и
продать будет, – сказал длиннолицый и, щелкнув языком, на-
правился к конюшням.

Вскоре все четверо отправились в обратный путь – от зари
до зари. Они выбрались из багрового ущелья, окрашенного
спермацетовым солнцем, бывшего русла умершей реки. Их
все еще было трое – четвертый не из них.

Полуголый, как Христос, идет на босу ногу. Только срам
прикрыт дешевой мануфактурой. Запястья схвачены верев-
кой, другой конец ее намотан на рожок седла, в котором вос-
седает длиннолицый. После дня пути глаза Холидея заплы-
ли и потемнели.

В пещере его рта пылает огонь, у огня – ладони, пятки и
размалеванные лица первобытных людей. Потрескавшиеся
губы кровоточат, хочется пить. На зубах, которые еще не вы-
били, скрипит втянутый через щели песок, и в сухой полости
носоглотки фантастическими фресками оживает вдыхаемая
пыль из-под лошадиных копыт.

Воздух безветренный. Твердая белая потрескавшаяся
почва, окрашенная природными окислами, становилась ко-

ричново-красной и надолго сохраняла следы лошадиных копыт, но была менее благосклонна к израненным ступням боконового преступника.

Совсем скоро они вернулись на просторные, но пустые, как кладбища, пастбища, где белели кости гигантов, подобные китовым скелетам на дне высохших океанов. Зубы белые и блестят жемчугом, ни кусочка гнилой плоти на них, только разрозненные клочки слипшейся истрепанной шерсти, несомой ленивым суховеем. Крохотные перекасти-поле в горячем недвижимом воздухе.

Всадники перемещались весь вечер и половину прохладной ночи, потом остановились. Кареглазый, сидя со скрещенными ногами и обняв короткоствольный винчестер, бессонными глазами вытаращился в смолянистое небо, где холодными радиоляриями мерцали звезды, словно в океаническом иле. Эти нечеловеческие глаза, закрепленные на огненных колесах, катящихся по вселенной.

Он слышал собственное дыхание как нечто бесконечно далекое. Несгораемые просторы атмосферного давления.

От пламени костра посреди равнины воронкой поднимались, как мотыльки, вращаясь по неправильной спирали и присоединяясь к небесным светилам, крохотные ярко-красные искорки в ночном безветренном воздухе. Словно высеченные из раскаленного камня, они прочно увековечивали себя в этом мимолетном мгновении.

Горбоносый, растянувшись на попоне, спокойно покури-

вал, отводя руку в сторону, к костру, стряхивал в огонь пепел. Затем сжег окурок и без интереса принялся разглядывать черно-синие дужки грязи под ногтями.

– Эй, милоч, – промямлил Холидей.

Кареглазый встrepенулся и, оглянувшись, большим пальцем неуверенно ткнул себя в грудь.

– Ты ко мне обращаешься?

– К тебе, к тебе, милоч. Я же вас по именам не знаю.

Кареглазый спросил.

– Ну, чего надо?

– У меня во рту, что в твоём сортире, как дерьмом намазано, дай горло промочить.

Холидей, жадно глядя на флягу большими глазами, произвольно зализывал кровоточивую ямку на месте выбитого зуба. Длиннолицый, сложив ногу на ногу, перелистывал карманную библию, расстаться с которой для него было все равно, что потерять душу. Горбоносый, надвинув край шляпы на глаза, отдыхал. Кареглазый потупил взгляд и отвернулся.

– Ну, чего глазеешь по сторонам? – прорычал Холидей. – У тебя что, права голоса нет? Что ты чужого одобрения доискиваешься, как облезлый пес кости?

– Эй, а ну заткнись!

– Ну ладно, не скули. Просто дай мне чертовой воды.

Кареглазый медленно и будто с опаской изменил положение тела и, отложив отцовский винчестер, поднялся на ноги.

– Ну, не тяни, милоч. Умираю как пить хочу.

Горбоносый отодвинул шляпу и протянул кареглазому флягу.

– Дай ему воды, черт тебя подери!

Молодой ковбой взял флягу, откупорил и, присев на корточки, сунул горлышко между потрескавшихся от жажды губ Холидея.

– Вот, милоч, буду должен! И за фляжку и за лошадь мою. Зовут тебя как?

– Не твое собачье дело.

– Длинное имя, а покороче?

– Могу еще по зубам врезать. Хочешь?

– Неа, как-то не шибко. Но за предложение благодарен. Обдумаю.

Кареглазый закупорил флягу и протянул горбоносому маршалу.

– Угомонись, малец, – вяло проронил он.

Они помолчали. Молчание затягивалось. Ночь не спешила кончаться.

– Меня вот что интересует, ради чего вы тут? – прошептал Холидей. – Сколько денег за мою голову выручите, а, господа джентльмены? А главное, даст ли это вам благоопеспечение и богатство? Нет, я очень сомневаюсь. Не обогатитесь, не прославитесь моей головой, ибо я не ангел пустыни, а заказчик ваш – не есть царь Аристокбул. Не ради богатств, а ради чего? Может, ради каких-нибудь царств? Земных или

небесных? На царство мою голову променяете? сомневаюсь, господа. Что вам дадут за меня, чему рады будете? Может, счастье? Удачу? Ничего вы не выиграете, если меня продадите. Только проиграете, ибо смерть моя – для бога, а не для вас, судьи. Хлеб и зрелища, вот что для вас. Только одно. Вы Голиафы, а я – есть Давид. Множество хлебов для вас и зрелищ.

Горбоносый посмеялся.

– И язык твой – праща, а слова – камни. Только летят они вкривь и вкось.

Холидей сплюнул и помолчал, глядя на кареглазого.

– У тебя лицо знакомое, – сказал наконец.

– У меня? – спросил кареглазый.

– Да и ботинки... Где я тебя видеть мог?

– Будь мы знакомы, я бы тебя запомнил, – проворчал ковбой.

– А я и не говорю, что знакомы. Только видел.

– Чудно как-то.

– Что чудно?

– То, что лицо мое ты отдельно от меня видел.

– У других людей лица похожи на твое.

– Может, кто на меня похож, – сказал кареглазый ковбой.

– А ты что, милоч, слова мои переставляешь? Я так и говорю.

– Мало, что ли, на свете таких.

– Ну, я повидал немало лиц как твое. Только проблема

вот в чем. Я людей, которые мне добро сделали, запоминаю. И не помню, чтобы ты среди них был. Да и среди тех, кто моей смерти хочет тоже. Откуда ж ты взялся такой добродетельный? И воду поднес, и лошадь мою яблоком угостил.

Ковбой сплюнул:

– Будь моя воля, я б тебя давно пристрелил, как ты того заслуживаешь!

– Чем это, интересно?

– Не твоего ума дело.

Холидей повернулся к длиннолицему.

– А вы, братки, в молчанку играете?

Длиннолицый посмотрел на него и опустил взгляд в библиотеку.

– Ну, бог с вами. Слушай, милоч, так как тебя звать?

Длиннолицый наемник неожиданно заговорил:

– У него есть имя и у тебя есть имя.

– Что-что?

– У всех есть имена.

– Верно. У меня имя есть, Оуэн Холидей. А вот парнишка ваш молчок, а маршал твой...

– У всех людей, что встречались мне, были имена, – продолжил длиннолицый чужим голосом. – Они твердят свои имена как молитвы даже во сне. Эти имена врезаются в их будущие надгробья. Чем чаще они их называют, тем глубже они врезаются в камень. Если у человека есть имя, то из него можно сотворить что угодно. Наши имена – это древнейшая

из глин земных.

Холидей поглядел на него.

– И если твое имя у народа на слуху, то ты уже в их власти. Над безымянным только никто не властвует, ибо его нет. И нельзя властвовать над ним или именем его осуществлять власть. Имена – вот зло человеческое. Впиши имя среди имен. Кем хочешь сотворить человека? Во что угодно превращай его даже спустя два тысячелетия после его смерти. И превращай бесконечно. Кому во что и как приспичит. Употреби в отношении его другие слова. Слова среди слов. Имена среди имен. Принуди к сомнениям. Именами осуществляется земная власть.

Холидей, поглядывая на ковбоя и маршала, хохотнул и спросил наемника:

– Ты это в своей книжонке вычитал?

Длиннолицый промолчал.

– Ты к чему это вообще? Мораль какую-то втолковываешь?

– К тому, что мы не наши имена, а нечто большее, за ними. И нечего тебе знать...

Горбоносый спокойно лежал, сложив ладони на животе и глядя в небо, но его губы зашелестели:

– Человек хочет думать, будто если у него имя есть, то он именем действует, вот что он говорит. Ты ведь это говоришь?

Наемник проворчал:

– Вроде того.

– Но это ведь вранье, так? Мы не действуем. Должно быть нечто большее, что будет стоять за именем, – глубоким, спокойным голосом продолжал горбоносый маршал. – Мы думаем, что творим наши дела от собственных имен, будто у нас на то воля есть...

Длиннолицый закрыл карманную библию.

– У человека есть воля, – сказал он. – К чему тогда нам жить и действовать, если бы не было воли?

Кареглазый ковбой смотрел словно сквозь стремительно стекленеющий туман то на одного, то на другого, и непонимающе хмурился.

Горбоносый пожал плечами.

– А мы и не действуем.

– Да ну?

– А разве действуем? Вот скажи, что толкает народ на убийства, на грабежи? Что толкает тебя зарыться в твою книжонку... Страх. Нужда.

– А я боюсь! И не скрываю этого, – длиннолицый сплюнул в костер. – И ты дурак, если не боишься.

– Пусть дурак. Но мы не стали бы действовать так, как действуем, если бы не забыли, что свободу воли утратили и творим не свои дела, а чужие. Их дела.

– Их? Чьи?

– Дела страха и нужды, а иногда и чего похуже. Похоти, жадности. Противозаконного. Не от собственного имени, а

от чужого. Кто за нами стоит? Увы, это не бог.

Длиннолицый спросил:

– А кто? Не дьявол ли?

Кареглазый слышал собственный голос будто звучащим вдалеке:

– И как жить тогда? Без воли...

– Бог знает.

– Если знает, почему не скажет?

Горбоносый усмехнулся:

– А у кого из нас воли хватит, чтобы к нему обратиться?

Все молчали.

– Вот, то-то и оно. Единственное, что мы можем, так это себя в руках держать. Ни воды Иордана не разделим, ни мертвых не воскресим. Это то, как мы глядим на мир. Наши взгляды то, что стопорит нас. С людьми боремся, но взгляды остаются неизменными. Не хотим смотреть иначе, безвольны и бессильны. Мы сами себе кресты поставили, сами влезли на них и сами себя пригвоздили к ним. И кресты наши всё, что есть у нас. Они держат нас на плаву. Кровь, боль и гвозди, но не воля.

– С гнильцой твоя философия, – проворчал длиннолицый наемник.

– Увы, гнильца эта берет начало в твоей книжонке.

Кареглазый проснулся утром. Его разбудил пинком длиннолицый, который возвышался над ним, как черная шахматная фигура короля. Скоро они покинули эту местность, а с

ней забылся и таинственный шепот, бесплодный ветер, гуляющий над пустынными равнинами, пересчитывая свои сокровища и формируя безликие песчаные изваяния, что молчат уже миллионы лет.

И неизменная основа всего сущего, сотворенного и дышащего в этих землях – молчание.

Глава 2. Раскрасить городишко в красный

К позднему вечеру по пророческому небу, как по рубахе застреленного, кровавым пятном расползся странный багрянец. Какая-то ужасающая, неизменная, застывшая смесь холодных далеких цветов. Черного и серого, и пурпурного. Это священное зрелище вцепилось кареглазому в душу. Оцепенелый, он покачивался в седле, тревожа кобылу, жмурясь и шурясь при взгляде в небо, будто к его мокрому от слез глазам подносили яркий светильник.

Вчетвером, на лошадях, они въехали в очередное пустынное поселение. В окнах глинобитных хижин зажигались лампы и свечи по мере того, как в подступающий мрак уходили блеклые очертания этого безымянного городка в чужом неназванном краю.

Холидей опомнился от жары, когда длиннолицый втолкнул его в темное прохладное помещение. Следом вошли горбоносый, закуривая сигарку, и кареглазый. Лоскуты залатанной парусины, служившие тут подобием двери, сомкнулись за ними, отрезав путь угасающему солнечному свету и продолжая покачиваться на сквозняке.

Внутри помещения стояла тьма, пахнущая сыростью и испарениями тел. В глубине, у своеобразного алтаря, на кото-

ром стояла бронзовая статуя христианского спасителя, тускло мерцали наполовину расплавившиеся свечи.

Ветхие лакированные стены вибрировали от гула голосов, ударявшихся и отражавшихся о них. Едва различимые сквозь дымку абрисы столов, полупустых людей с обескровленными лицами и мрачного лжецерковного фона сливались в подобие загробного мира, где души умерших ведут свой несчастный хоровод. Люди без выражения на угрюмых лицах, без глаз и ртов. Бесплотные, как холодный ветер в пустыне. Другие вовсе казались деревянными и хрустальными, стеклянными как куклы. Третьи были как на шарнирах или двигались посредством нитей, прикрепленных к потолку. Все они будто принимали участие в своеобразной театральной мистерии.

Среди них были и белые, и черные, и мексиканцы, и желтоглазые, и беззубые, и покалеченные, и облепленные грязью, и облысевшие от пьянства, и обезумевшие от женщин. В шляпах, с тяжелыми пыльными усами и выгоревшими бровями. Их голоса звучали отдаленно и неясно, словно этими пустыми телами овладел сонм кладбищенских привидений; и все эти звуки происходят от них, давным-давно усопших духов. Речь и гомон мертвецов, что воскресли и продолжают блудить и смеяться за пределами своих остывших одиноких гробниц.

Появление четверки поначалу не привлекло особого внимания, и каждый из вошедших нашел себе место среди про-

чих призраков. Длиннолицый усадил Холидея за стол и благосклонно поставил ему кружку воды, после чего перекрестился перед статуей святого спасителя.

Холидей мельком глянул на длиннолицего исподлобья, протянул онемелые руки и испил из кружки.

Горбоносый, взяв окурок двумя пальцами, запалил от него фитиль свечи, небрежным жестом смахнул пыль со стола и, вытащив из-под рубахи пистолет, положил его на видное место.

Кареглазый сидел, просунув ладони между колен и глаза по сторонам. Он заметил недоброе. Там, в углу, где собрались несколько лупоглазых изрекающих на странном диалекте язычников, уже что-то назревало.

Длиннолицый прошел к стойке, снял шляпу и попросил себе пива.

– Я в молодости на дымовой сушильне работал, – сказал он. – Это такие металлические камеры с днищами, похожие на цистерны, где высушивается солод. Под ними нагревательные печки, затопленные антрацитом, а сверху вытяжная труба. Дым вместе с воздухом протягивается сквозь солодовый компресс, который ежечасно перелопачивают...

Насупленный гигант в широкополой шляпе невнятно бормотал бессмыслицу себе под нос, поглядывая на длиннолицего.

– Боже мой, – устало пробормотал гигант. – Боже.

Длиннолицый придвинул к себе поставленную кружку,

косясь на потеющего здоровяка. Отхлебнул. Гигант посмотрел на него.

– Боже, как я ненавижу здесь все!

Длиннолицый согласился с ним.

– Не ты один, приятель!

– Я ненавижу каждую пядь этого проклятого места, оно сам Содом! Будь оно сожжено дотла гневом Божиим, будь оно...

И, продолжая бормотать, он утирал лицо и нос.

– У тебя, приятель, случилось что? – спросил с дружелюбной хрипотцой длиннолицый.

– Глаза бы мои сгнили в глазницах, лишь бы не видеть это застойное гнилое болото, будьте вы все прокляты. Это Содом. Это Содом и Гоморра! Вы все богохульники, прокляни вас господь, вы стая высокомерных псов, я ненавижу вас!

Сумасшедший, он опять глянул на длиннолицего, барабанив пальцами и тяжело дыша.

– И ты, – сказал он, – я тебе череп расколю. Морда ты разбойничья. Так расколю, что до самого океана дотечет. Вы не заслуживаете милости господней, будьте вы все прокляты!

Длиннолицый пожал плечами и поднял кружку:

– До дна за то, чтобы это место еще до зари покатилося в Ад вместе с безбожниками!

И, возвестив громким голосом, принялся пить. Гигант скривил физиономию, отвернулся от длиннолицего и принялся разглядывать посетителей, словно пригоршню монет

у себя на ладони. Язычники, черные, как оникс; белые, что уже наладились до звериного безрассудства; несколько мексиканцев, стоящих у окна с надменным выражением на лицах, которые впитали цвет чужой земли.

Посмотрел гигант и на горбоносого, смахивающего пепел со столешницы; и на кареглазого, нервно покачивающегося на табурете в углу, как умалишенный; бросил он короткий взгляд и на Холидея, и, тяжело дыша, возобновил бормотание.

– Так вот, на чем я остановился? – спросил длиннолицый. – Ах да, перелопачиваешь солод...

Но вдруг гигант переменялся в настроении, и длиннолицый заметил это.

– Сукин сын!

Наемник проследил направление его взгляда.

– Этот сукин сын, – рявкнул гигант, – этот подонок!

Он поднялся и огромный, как шкаф, зашагал к Холидею, топая и не обращая внимания на окружающих, кого расталкивал.

– Это ты, это ты!

Горбоносый подгрел под себя ноги, потушил окурок в миске с догорающей свечкой и положил ладонь на пистолет. Гигант это заметил и остановился. Вместе с тем почему-то оживились язычники, обвешанные костяными амулетами. При оживлении язычников, будто только того и ждали, сразу протрезвели несколько заулыбавшихся и подталкива-

ющих друг друга белых, стреляя белесыми глазенками из-под полей шляп.

Вслед за ними напряглись и мексиканцы, до того стоявшие у окна как посторонние, отрешенные от всего храмовые статуи или стражи в душных склепах, блестя налитыми кровью глазами. Холидей посмотрел на гиганта, щурясь и заслоняясь связанными руками.

– Это он, это он!

– Кто?

Гигант трахнул кулачищем по столу. Одна из ножек переломилась, и в последний момент полупьяный белый успел подхватить кружку, расплескав ее содержимое.

– Это ты, ублюдок!

Гигант плюнул Холидею в лицо. Холидей подскочил с места.

– С ума сошел, я тебе пасть порву!

Он попытался протаранить противника головой, но тот сцапал его за волосы одной рукой, пальцами другой впился в шею и стал душить.

– Давно я тебя ищу!

– Пусти его, а то пристрелю! – сказал горбоносый, обращая внимание гиганта на свою руку, лежавшую на оружии.

– Попробуй!

Гигант отпихнул Холидея, тот наскочил на стену и с грохотом рухнул на покрытый пылью пол. Гигант вытащил револьвер из кобуры на ремне. Горбоносый схватил свой пи-

столет. Язычники поднялись, как по команде, и вот уже хозяин бара вырос из-под стойки, волоча длинное двуствольное ружье. Большим пальцем взвел непослушные курки и прицелился в широкую спину гиганта.

Тот услышал щелчок. Остальные постояльцы сидели, противно корча рожи и улюлюкая.

Курильщик с причесанными усами и выкачанными глазами сдвинул шляпу на затылок и опустил левую руку под стол.

– Отомщу, – ревел гигант, – отомщу!

– Отмщение – это благо, – ответил Холидей, сидя в пыли и заслоняя руками лицо от ожидаемых выстрелов. – Я сам человек ой какой мстительный. Ну, стреляй!

– Я не ты, сперва молитву читай!

– Какую-такую молитву?

– А ну всем успокоиться! – рявкнул хозяин. – Не позволю брату на брата!

– Какой он мне брат. Это вор и убийца! А я родом из этих краев, как и ты!

– Да пусть мы с тобой хоть единоутробные близнецы, мать наша пресвятая дева, а отец дух святой, тебе убийство с рук не сойдет! Не под моей крышей. Выводи его наружу, и там стреляйтесь!

– Сучий сын наговаривает! – крикнул Холидей, продолжая заслоняться. – Они все тут убийцы, эти трое! Плачу золотом тому счастливицу, кто меня отсюда вытащит!

– Живьем ты не уйдешь отсюда, крестом клянусь!

Горбоносый поднял руку.

– Этот мужчина, Оуэн Холидей, осужденный преступник. И я здесь, чтобы сопроводить его к месту казни. Туда, где над ним суд совершится по закону, справедливый и обдуманный...

– Он не доживет до суда! – пообещал гигант. – Тут высший суд вершится, суд Господень! По закону божьему, а ваши законы и суды здесь никто не признает. Это неизвестная земля.

Кареглазый, слушая их споры, медленно поднялся с табурета и отступил в тень, то глядя на горбоносого, то на длиннолицего, то на Холидея, ожидая, что они предпримут, чтобы последовать их примеру.

– Ну давайте перестреляем друг друга, – сказал горбоносый. – Кого это удовлетворит? Разве смертоубийство угодно богу?

– Клянусь, – потея и скрежеща зубами, сказал гигант, – этот красношей ублюдок отнял у меня имя, землю, золото, седло!

– Не слушайте, он только ищет, на ком злобу сорвать! Кто-то его облапошил...

– У меня все было, все! А теперь на чужой земле спину гнуть за вшивую похлебку!

– С такой участью ты родился, – сказал Холидей.

– Тогда ты родился, чтобы сгинуть в этой дыре! Читай молитву!

– А чего мне? Так стреляй! Моя жизнь молитва.

– Хочу, чтоб ты прямиком на суд Божий попал. Читай молитву, говорю!

– Ты жадная свинья, – прорычал Холидей. – Никто тебе в карман не лез. Сам подписался! А теперь из-за гроша ломаного в петлю лезешь. Ну верши свой суд, только не промахнись!

Тут в помещение вошел еще один. В шляпе, одет с иглолочки. Громко произнес какую-то фразу, но увидев, что происходит, не договорил, а немедленно выхватил свой внушительный кавалерийский драгун. Курильщик с длинными усами выстрелил в него из-под стола. Человек с драгуном крикнул, его рука дернулась, револьвер выстрелил в потолок. Мужчина мгновенно исчез за трепещущим лоскутком парусины.

Хозяин пальнул курильщику в грудь из ружья, тот кувырнулся и замертво распластался по полу. Пошла суета. В сотрясающемся воздухе вихрями металась пыль из-под ног. Шляпа с курильщика слетела и взвилась по спирали. На продырявленной рубашке быстро оформлялось кроваво-красное пятно. Трое мексиканцев у окна вытащили свои пистолеты и расстреляли владельца, за чьей спиной полопались взорвавшиеся и подпрыгивающие бутылки. Алкоголь лился через проделанные пулями отверстия, а одна бутылка осталась стоять с плавающей пулей, которая блестела в желтом, как янтарь, напитке.

Белые застрелили мексиканцев, а язычники застрелили и зарезали белых, вскрывая горла, как горла козлов. Они израсходовали весь боезапас и испачкали кровью ножи, затем повернулись к горбоносому, сверкая лезвиями, а третий, будто надеясь на голые кулаки, закатал рукава.

Владелец, покрытый кровью и весь в прорехах от пуль, из последних сил опираясь на стойку, выстрелил опять. Двое язычников, черных, как обугленные жертвы костров инквизиции, присоединились к мертвецам.

В суматохе Холидей подскочил и хотел навалиться на гиганта, пусть и ценой собственной жизни. Но тот оглянулся и отвел руку, стрельнув в кого-то позади себя. Длиннолицый встал на стул, снял с гиганта шляпу и расколочил кружку ему о голову. По спине полилось пенное желтое пиво. Горбоносый стрельнул гиганту в живот, чуть выше паха, из своего пистолета, и тот упал, ревя от боли, как розовощекий младенец. Лицо его налилось густой кровью, шея пошла бледно-белыми пятнами.

Кареглазый принялся выталкивать Холидея к выходу, прячась у него за спиной.

Снаружи их встретила очередь коротких и приглушенных выстрелов, словно отрывистые хлопки петард. Округу застлал шлейф вулканической пыли.

– Мать твою! Давай-ка лучше назад, паренек!

Кареглазый толкнул его. Холидей рухнул и накрыл голову руками. Какие-то фигуры метались в тумане, среди вспы-

хивающих и угасающих огоньков, как на илистом дне моря, где обитают невиданные твари. И уже неясно, кто жив, кто мертв.

Неопределенные силуэты стреляли друг в друга. Длиннолицый и горбоносый стреляли в туман из пистолетов, а кареглазый бросился к гогочущим лошадям и начал без разбора палить с очумелой скоростью из отцовской винтовки. Шляпу с него сдуло будто порывом ветром, и он почувствовал, что пуля пролетела в дюйме над головой, пошевелив волосы на макушке.

Смерть...

Смерть, смерть...

Прошелестел шепот.

Сын, оставь эту глупую затею...

Нет, не оставляю. Они нас без денег оставили! Без всего.

Ничего уже не исправишь.

Ничего не вернуть...

Беготня, шум, а затем воцаряется тишина. Он видит, как кто-то бежит сквозь облако пепла. Стреляет в последний раз.

Все застывает, и вот они уже идут по залитой испражнениями улице. Идут, хлюпая сапогами по грязи и комкам слипающейся пыли. Повсюду растекается кровь оттенка коралловых рифов. В ушах кареглазого стоит гулкий шум, подобный ропоту морского прибоя.

Горбоносый перешагнул через труп первого застреленного, повертелся так и сяк, похлопал по карманам, наклонив-

шпись над ним. Взял кавалерийский драгун, втянул живот и приткнул оружие за пояс спереди.

Когда в голове перестало греметь, а сквозистая поволока порохового дыма постепенно рассеялась, кареглазый разверст массивные веки, и зыбкие зрачки его, подобно первым людям, покинувшим темные пещеры его глаз, были наги и беззащитны перед светом, который не был солнечным.

Он обнаружил себя стоящим в тусклом свете луны, вдыхая остывший воздух с сильным металлическим привкусом крови.

Запыленный ветер завывал над поляной, где лежали трупы застреленных людей. Пыль застелила кровоточащие тела, заборы и дома. На ветру пружинили бельевые веревки, и во дворах лаяли собаки.

Кареглазый с пустой короткоствольной винтовкой в чужих трясущихся руках возвышался над телом убитой женщины. Горбоносый ногтем выковырнул дробишки из потрескавшейся стены, а затем сплюнул и направился к кареглазому.

Длиннолицый равнодушно перешагивал через тела застреленных людей и лошадей, застывших в различных позах, проверяя, достаточно ли они мертвы.

Из убогого глинобитного жилища у дороги выбежал полуголый мужчина с ружьем. Прокричав иноязычную тарбарщину, он прицелился в кареглазого, стоящего над трупом женщины.

Кареглазый застыл как олень за момент до того, как сорваться с места, но мужчина тут же сам получил пулю в шею и рухнул, где стоял. Кареглазый вздрогнул.

– Попал так попал, – сказал длиннолицый и сплюнул.

Шурша на ветру и складываясь в новые узоры, по улице катились, блестя в свете ущербной луны, сухие листья среди почерневших неподвижных тел, чья кровь, словно корни, уходила глубоко в обезвоженную землю.

Кареглазый посмотрел под ноги. Убитая женщина, сжимающая в ладони окровавленные бусы, невидяще смотрела на него, сквозь него.

– Ей-богу, негостеприимный тут народец, – сплюнул длиннолицый.

– Вот он! – вскрикнул Холидей. – Я свидетель! Убийца, да, убийца женщин!

И показал пальцем на кареглазого.

– Я на суде побожусь, что он убийца женщин... одну петлю делить будем!

– Закрой рот, – буркнул горбоносый.

– Убийца! убийца! Помогите, убивают! Кто-нибудь!

– Заткнись!

Маршал подошел к кареглазому и выхватил у него оружие.

– Известно тебе, что оно не гусиными перьями заряжено?

Ковбой оторопело моргнул:

– Что?

– Отвечай на вопрос!

– Какой вопрос?

– Ты знал, что оно не гусиными перьями заряжено!?

– Да.

– Да, сэр, говори.

– Да, сэр.

– Что «да, сэр»?

– Что?

– Что «да, сэр»?!

– Я не понимаю.

– Отвечай на вопрос!

– Какой?

Горбоносый сунул ему в лицо ружье:

– Известно тебе, что оно не гусиными перьями заряжено?

– Известно.

– Сэр.

– Известно, сэр.

– Плохо известно! – он сплюнул. – Ты женщину убил.

Кареглазый не нашел, что ответить.

– Ты же мне самолично божился, сучий сын, что крещеный.

– Да, сэр. Крещеный я.

Горбоносый хлопнул себя по лицу.

– Врешь, сучий сын. Иначе бы от запаха пороха у тебя мозги с ног на голову не перевернулись!

– Все не так, сэр. Это не я...

– Сам дурак, зря я тебя подписал. Подожди, что ты сказал? Не ты?

– Это не я...

– Нет, это ты!

– Не я... я видел...

– Нет, ты не видел! Ты не видел, куда ты стреляешь.

Они услышали крик.

– Проклятье, моя Персида! Моя милая, моя огненная, душа прерий моих!

Холидей рванул с места и упал на колени. Как Христос, он попытался воздеть связанные руки над раненной лошастью, словно надеясь ее исцелить. Длиннолицый подошел к нему, переступил через голову лошади.

– Вот же бедная тварь, – сказал он и перекрестился. – Египтяне только люди, а не Бог. Кони их плоть – а не дух! Всегда будь милосерден к тварям меньшим.

Он выстрелил в лошадь, и в воздух выплеснулся фонтанчик черной крови. Тяжелые капли упали на пепельную землю.

Следующие полчаса они тыкали землю единственной лопатой, передавая ее из рук в руки, как бутылку виски, которую распивали. Женщину они погребли и поставили у могилы самодельный крест из куска веревки и двух палок. Длиннолицый любовался тем, как опадает листва с деревьев.

Горбоносый глянул на кареглазого отстраненно, шагнул, сплюнул и, сняв шляпу, пробормотал, что они в этом мире

ничто.

– Лишь гости, скитальцы, изгнанные проповедники собственного мировоззрения, которое отвергнуто и стало апокрифическим. Мы никому не нужны, наши имена под запретом к произношению, жизнь наша напрасна и дела тщетны!

Он воздел руки над могилой.

– Все плюют на нас, мы движемся к забвению. Нам суждено сделать то, что мы сделаем и пережить то, что должны пережить, но мы хозяева своему взгляду на мир. Мы как тени, отброшенные теньями. Господи, сопроводи нас, чтобы мы никогда не встретились ни в этой жизни, ни в следующей. Аминь. Теперь давайте убираться отсюда.

– А где длиннолицый?

Горбоносый посмотрел на Холидея.

– Вон он, – ответил Холидей.

Черная фигура в потрепанной шляпе обрисовалась на фиолетовом фоне мрачного леса. Длиннолицый бранился, восседая на своей неуклюжей, сухороброй и беспородной кобыле, обругивая то ее, то другого коня – воистину громадного, с оскаленной кудлатой мордой, напоминающего античные скульптуры коней, с длинными мощными ногами и неистовым характером. Животное раздувало две несоразмерные ноздри, производя звук, который не был похож ни на что слышанное ими. Обе лошади были привязаны друг к другу веревкой таким образом, что диковатый конь вынужденно принаравливался к своеобразному аллюру бесхвостой кобы-

лы, который выработался в процессе многолетнего воспитания.

– Это будет Миямин, что значит счастливый, осчастливленный богом. Потому я и привязал его справа, – сказал длиннолицый. – Я пораскинул, что, может, нам понадобится еще пара копыт.

Глава 3. Дни как решетки на окнах

Полуночное небо расколосось на фрагменты. Белые рубашки облаков похожи на льдины. Холодные и далекие, скупенные, отчужденные от этого мира. В пересохших руслах между провалившимися ребрами очерчивалась кустарниковая тень тюремной решетки. Бряцала амуниция, тяжело дышали лошади. Длиннолицый тихо свистел. Горбоносый невозмутимо дымил самокруткой. Кареглазый обескровленное лицо утирал шейным платком, лихорадочно и безуспешно. Спустя мгновение оно покрывалось крохотными капельками пота, немедленно испаряющимися с его кожи, как влага, попавшая на раскаленную печь.

Они двигались навстречу очередному рассвету – и их сливающийся мерцающий силуэт постепенно растворялся в крепкой предрассветной дымке. Из тенистых провалов лесостепи на них глядели блестящие бельма мелких оголодавших луговых койотов.

Направление движения их в этом пустом пространстве совпадало с направлением движения солнца, ветра и еще бог знает каких неведомых движущих сил. По правую руку от них дымчатым одеялом протянулся смешанный лес с дремучими зарослями. Спустя несколько миль, словно они странствовали по линии соприкосновения всевозможных климатических зон, безводным океаном из-за горизонта всплыл

желтоватый лессовый плацдарм. С извилистыми долинами пересохших рек и зеленоватыми тальковыми затвердевшими берегами, испещренными тысячей минералов оттенка стертого опала.

Подобно стражам стояли увечные слоистые останцы в меандрах. На дне высохшего русла суетились крохотные зверьки и черные ящерики без конечностей. Наметенные сухим горячим ветром лазурные змеевидные узоры на отдаленных воланах застывшего песка, темнеющего потными пятнами полыни, зыбились и переливались, как свет на складках шелковой ткани.

Солнце полированным блюдцем ослепительно сияло в небе, будто отсвечивало, пригласив на ежедневную роль менее яркого двойника в сопровождении венценосного радужного гало. Совершенно чистое и безоблачное небо подобно драгоценному перлу творения, на шлифовку которого господь не экономил собственных сил. Полуденный жар раскалил каждую песчинку и изжарил каждую клетку тел всадников. Тщательно вызолотил бескрайние засушливые просторы на мили вокруг.

Серой вереницей вышагивали по уступам толсторогие бараны. Самцы и самки, и несколько безрогих барашков, похожих на белых шерстистых козлят, которые прыгали по зыбким формациям бесстрашно, как человеческие дети, не ведая смерти.

В жаре остывающего дня они пересекли очередную рав-

нину, над которой плескались в синеве неба птицы, чьи тени, спроецированные черно-белыми копиями на землю, то становились неожиданно вычурными, то полуовальными и продолговатыми, то меняли форму, удлиняясь и укорачиваясь, беззвучно скользя в бессрочном плену этого живописного пейзажа.

Тени всадников и единственного измученного путника менялись подобным же образом по мере того, как древнее солнце описывало дугу с востока на запад. Оно скользило в воздухе, перемешивая атмосферные пары и выдерживая свой многовековой завещанный ему курс, словно какой-то призрачный фрегат, обреченный вечно преследовать недосяжимую цель, намеченную давным-давно скончавшимся капитаном.

Убийца, убийца!

Шептал голос.

Волчец и терновник в твоей душе. Она невозделанная земля, тронутая запустением!

Кареглазый оглянулся. Холидей почувствовал его взгляд и поднял глаза.

– Ты одежды свои по каталогу почтовому заказывал, а, кожаный?

– Закрой рот!

Горбоносый обернулся.

– Тише, вы оба.

Холидей улыбнулся, но промолчал.

Нами играют, мы камешки на доске...

И мы будем двигаться так, как выпадет на костях.

Но кто их бросает, а главное – где?

Кареглазый стиснул челюсти.

Игральная доска этот мир. Все предначертано, эти линии, клетки, они существуют еще с бронзового века! И те, кто играют, сменяются. И те, кем играют, сменяются тоже. Но игра и поле остаются неизменными. И правила неизменны!

Кареглазый зажмурился. Тяжело дышал.

– Ты дьявол, – сказал он.

– Я-то? – спросил Холидей.

– Ты.

– Отнюдь, я не дьявол. Не дурнее твоего маршала буду.

Кареглазый бездумно смотрел на Холидея, пытаясь понять, он ли с ним говорит. Холидей помолчал, приглядываясь к нему.

– Минутку-минутку, а ведь я тебя вспомнил!

Кареглазый моргнул:

– Что?

– Да, я помню тебя. Этих двоих я раньше не видал, иначе бы запомнил... Но ты. Сразу мне знакомой твоя рожа показалась.

Кареглазый поморщился:

– Вот я тебе глаз вышиблю, всякое желание на меня тарашиться пропадет.

– А я тебя вспомнил. Вспомнил. Кифа! Ты же швырялся

в нас камнями. В меня и дружков моих. Когда мы с твоим одноруким отцом разговаривать приходили насчет денег.

– Не выдумывай. Ты меня не знаешь.

– Это я выдумываю?

– Ты, сучий сын.

– Не, это ты, парень! Да и кто ты такой сам, чтобы меня дьяволом называть, а? Чертов гуртовщик, пронырливый во-рюга, таскающий неклеименых телят с соседнего ранчо, пока они ищут свою мамочку-корову! Вот ты кто, сопливый мальчишка...

Кареглазый молчал.

– Я помню, что подстрелил тебя с полмесяца назад! Быстро же ты оклемался. Но это поправимо. Не пойму только, ради чего ты здесь? У тебя это личное ко мне. Я правильно угадал? Надо было тебе, мальчик, с потерей примириться. Но теперь уже поздно. И раз уж ты теперь сам убийца, то я тебе вот что скажу. Мы с тобой одного теста, одной породы. И беззаконие, что выпало на долю семейства твоего, знакомо каждому на этой земле! И мне оно знакомо не хуже, чем тебе.

Кареглазый помотал головой.

– Ты должен идти со мной, а не с ними, – шикнул Холлидей. – Мы с тобой родственные души. И потерпевший от беззакония терпит от закона.

– Вот еще!

Горбоносый оглянулся.

– Тихо там.

Они помолчали. Холидей опять заговорил полусшепотом.

– Ты и я, мы оба терпели, смиренномудро терпели, но кто творит беззаконие, если не закон? Одни приняты и творят, что им вздумается, а другие отсеяны. Это как рай и ад. Но это земля, а земля свята, нельзя ограничить одних, а другим дать ее дары. Не по-божески, не по-человечески это. Мне запрещали существовать. Ваши законы. Я только делал все, чтобы мне жить, а это не противно Богу, и в глазах его я не трус, я выше вас. Выше тебя.

– А он истину глаголет! – кивнул длиннолицый с гадкой ухмылкой.

Холидей сплюнул. Кареглазый обливался испариной, голоса доносились отовсюду и сразу, словно налетевший жаркий ветер похитил души говоривших, когда они раскрыли рты.

– Знаете, мой дед, – продолжал Холидей, – царствие ему небесное! Мой дед заклинал меня не осуждать человека и не предавать его суду неправедному. Даже если такой человек за столом богохульствует, кривые речи о других ведет или хуже. Убьет кого-нибудь.

– Очень удобно, – буркнул кареглазый.

– А мы и не осуждаем, – сказал длиннолицый вяло, – мы только исполняем, так ведь, маршал?

Горбоносый промолчал.

– Старик мой, упокой господь душу его милосердную, –

заговорил опять Холидей, – взял с меня перед смертью клятву. Чтобы я рассудительно и осторожно действовал в жизни. Потому что старик мой верил, будто человеком зло от рождения и до смерти управляет. Наши глаза очарованы им, наше дыхание у него в руках. И души тоже, между прочим. И мало тех, кто убережен от зла. Если вообще убережен... И старик мой верил, что земные законы – вовсе не людьми писаны, а этим злом. Зло оно или просто по-своему мыслит, поди пойми! Дед мой в том вопросе был редкий мастак. И он знал, откуда происходит. Не как я. И утверждал он, что законы злом писаны, что они противоречат природе. Еще в древнейшие времена человек ощущал это зло и старался с ним бороться. Мордобой, конечно, не прокатывал, поэтому шли на ухищрения. Тогда-то и зародился общественный строй с его порядками, правилами и ограничениями. С его табу.

Кареглазый мотнул головой. Перед внутренним взором возникла фигура отца. Старик смотрел на него с пониманием, но было в его взгляде нечто жуткое...

– Да, господа присяжные. Древнеафинская гелиэя. Греческие архонты. Римские квесторы. Византийское шестикнижье. Слыхали о таком? В самих названия уже заключалась некая внушающая страх сила. И с тем, господа присяжные, чтобы еще сильнее повлиять на умы, человек намеренно использовал символы с древней родословной, чьи корни уходят еще в дохристианские, доадамские, добиблейские, черт подери, времена! Оттуда оно и тянется. Это уподобление ри-

туалу. Внешность судьи, его регалии. Ореол почета, которым его фигура окружается, как Христос сиянием мандорлы. Атрибуты судейства его – молот, книги и кафедра. Его божественная мантия с широкими рукавами. Его речь, голос и манеры. Все должно отвечать его статусу.

Кареглазый закрыл глаза.

Холидей сплюнул.

– Но это – только ложь! Сопротивление злу невозможно, ибо мир сей выдуманный с рукописными законами его – и есть зло! И кто одержим жаждой, тот уже во власти зла. Но возможно ли изгнать бесов бесами? Это порочный круг! Тот, кто идет путями этого мира – уже подталкиваем злом и придет обратно к тому, что сам и разрушал! По Христу на крест, господа присяжные. Я говорю вам, это как закон божий. По Христу на крест! Мы сами для себя воздвигали кресты, но лезут на них другие? Это ли проявление веры или безверия? Как же так выходит, что мы поступками своими воздвигаем кресты для иных, но не для себя. А сколько еще крестов?

Непечатый край! Вот что я скажу вам! Бескрайнее кладбище за нашими плечами! Кто в ответе за их воздвижение? Кто будет принимать свой крест? Или же я здесь – козел отпущения?

Кареглазый стукнул его прикладом винчестера по уху.

– Заткнись уже!

– Эй! С ума сошел, мальчишка! – огрызнулся Холидей. – Да у вашего щенка мозги спеклись! Он в горячке. Лучше

почаще оглядывайтесь, иначе он вам в спину выстрелит...

Кареглазый надвинул шляпу на глаза.

– Хватит!

– Если вы закон, то осудите и его! Он, как и я – убийца! Но я не убивал и не насиловал женщин, и пальцем не трогал без их согласия! Пусть вы и пытаетесь на меня что-то повесить. У меня и сестра есть, и мать! Думаете, брат и сын способен надругаться над женщиной?! Подумайте еще разок. Дайте мне пистолет с одной пулей. Дайте шанс! Пусть сам господь бог распорядится, кому из убийц будет отпущено, а кто будет наказан. Я требую дуэль. И клянусь своим местом в царствии небесном, что уокошу этого простофилю.

– Я-то? На дуэль с тобой? – спросил кареглазый.

– Да, а что? Струхнул, сучий сын!

– Я дурак, по-твоему?

– У тебя кишок хватает только на безоружного поднимать руку.

– Ты меня сразу застрелишь!

– Я требую! – крикнул Холидей. – Вы мне остригли бороду и обрезали одежды, переносно выражаясь! Я требую...

– В суде требовать будешь.

– Трусливый щенок! Протиральщик седел, срезатель изгородей! Да и просто-напросто сучий сын! Погоди у меня! Я же тебя голыми руками, вот этими вот руками...

Горбоносый пригрозил ему.

– Тихо!

Длиннолицый застопорил своих связанных лошадей.

– А я за, – сказал он. – Пусть стреляются.

– Ни за что, – ответил горбоносый.

– А почему, собственно? Сэкономим время и деньги, и слова.

– Верно, дайте мне оружие! Я употреблю пулю как надо!

– С ума сошел? – возмутился кареглазый.

– По-моему, это справедливо, – ответил наемник.

– Да я за оружие взяться не успею!

– Ну, женщину ты застрелил, не думая. Как яйцо разбил.

– Это не я! Откуда тебе...

Горбоносый выслушивал аргументы, но ему быстро надоело. Он разрядил оружие, слез с лошади, подошел к Холидею и вручил ему свой револьвер.

– Одна пуля, – сказал.

– Вот это я понимаю! – облизывая губы и сверкая глазами, пробормотал Холидей.

Кареглазый нервно рассмеялся:

– Вы это серьезно?

Холидей отступил на шаг.

– А руки? Руки мне развяжите?

– Не, ты и так справишься.

– Да я его и с завязанными глазами пристрелю.

Кареглазый потянул поводья и сплюнул.

– Это бред! Мое мастерство дуэлянта ограничивается тем, что я едва успеваю выхватить из кармана мой носовой пла-

ток до того, как чихну. Он меня сразу убьет!

Холидей расхохотался.

– Ты, видать, сопля смазливая, из тех ковбоев, кто боек на пустое место ставят, чтобы тебе большой палец на ноге не отстрелило?

Кареглазый не двинулся с места.

– Это вам не родео, – сказал он, – а я не лошадь. Хотите в моих одежках дыр понаделать, так я вам чучело сделаю, наряжу его, можете пострелять, только без меня. Конец истории.

– Трусливая собака! – рявкнул Холидей. – Ты своей трусостью и безверием господу нашему в лицо плюнул и приравнялся к тем, кто его побивали палками и камнями и требовали для него казни! И путь к его неисчерпаемому милосердному сердцу для тебя потерян на веки вечные. Гореть тебе в адском пламени!

Холидей отступился на шаг, направил револьвер в лицо горбоносому и выстрелил. Вхолостую шагнул курок.

– Ты что ж... гад, сучий сын пустоглазый!

Горбоносый саданул ему по носу, забрал оружие и возвратился в седло.

– Поднимайся! – длиннолицый дернул за веревку.

– Ублюдки! Пробовали вы жить по законам вашим? Вы, составители их! Жить такой жизнью, как жил я. В ваших словах нет силы, судьи. Вы ничто для меня! Лжецы, будьте вы прокляты и ваш закон. А ты, щенок прыщавый, берегись.

Представится мне шанс к бегству, я твоего отца отыщу. И все семейство твое. Отрублю старику и вторую руку на глазах жены, потом изнасилую ее, сестер твоих тоже изнасилую, и порублю их на куски. Убью их! Каждого из них. И все свои болящие раны, что ты мне причинил и твои спутники, я заживлю твоей смертью и их, и кровь ваша будет мне бальзамом на душу мою разгоряченную и неуспокоенную!

У кареглазого кровь пульсировала в голове. Он весь горел, вглядываясь в горбоносое, длинное и кареглазое лицо Холидея, которое тасовалось у него на глазах как колода карт, меняя выражения, приводя в движение губы, глаза и мышцы.

– Дай-то Боженька всемилосердный я до тебя доберусь прежде, чем меня в петлю проденут. Тогда и тебя утяну за собой! – Холидей перекрестился. – Вот так вот. Запомни слова мои и прислушивайся, когда ангелы вотрубят!

Они продолжали путь в молчании. Полуистлевшие кости неведомого зверя, опутанные паутиной, покоились среди величавых булыжников, в логове огнедышащего ящера, где все поросло мертвым лишайником, из которого сочилась затхлая зловонная влага; над этой безнадежной картиной хлопотали разноцветные облачка шумных насекомых, как священнослужители над мощами.

Горбоносый снял шляпу в поминальном жесте.

Кареглазый глянул на него, застопорил лошадь и пристально посмотрел на разлагающуюся падаль.

Хотел запомнить мельчайшие детали, сделать какой-то

слепок и унести это зрелище в собственных глазах.

Длиннолицый сплюнул и пробормотал:

– Он смерть смертью поправ.

Кареглазый бессмысленно глядел на него. Наемник прыгнул с лошади, пошарил в седельной сумке и извлек коробок, зажег одну спичку и осторожно поднес к гуще мошкеры и насекомых, и мух, шарахающихся от огонька.

– Они понимают жар. Красота, какая красота! – сказал он, потом тряхнул рукой и вернулся в седло. Кареглазый постепенно сходил с ума.

– Когда я впервые убил, то ощутил словно нахлынувшее на меня воспоминание, – поделился с ним длиннолицый. – Сродное чувство, должно быть, испытал первый братоубийца Каин, когда убил Авеля. Но для него оно было первым. Он был его родоначальником.

– Что?

– То! Когда убил, говорю. Словно я давным-давно уже был причастен к убийству, потому это чувство оказалось столь знакомо мне. Я убивал раньше. В прошлых жизнях. Но до того, как я вновь убил в этой жизни, я не мог вспомнить его. Будто мне случилось забыть. Но это воспоминание, это чувство я принял как дар. Во мне всколыхнулся закуток дикарского разума, о существовании которого я даже не подозревал и думал, что мне чуждо насилие над человеком. Ведь оно богопротивно. Кровь убитого оскверняет землю. Очистить ее может только кровь убийцы.

Кареглазый промолчал.

– Мне тогда было двадцать лет, наверное. Собрали нас, голытьбу дворовую, дьяволов краснокожих стрелять. Выдали кремневые ружья – древние, что твой алфавит, да сумки с патронами. Но среди прочего только штыки и были рабочие, если знаешь, куда бить. Ружья били вкривь и вкось как пьяный на бильярде. Патроны бракованные, что туда вместо пороха начинили, могу только гадать. Не иначе, как фунт перца. Даже у красных, которых снабжали команчерос, оружие сноснее было...

– Это просто кровь, откуда она берется... Бессмыслица, – утирая вспотевшее лицо, пробормотал кареглазый. – Просто бессмыслица.

Длиннолицый откашлялся.

– Вот однажды ночью и случилась нешуточная стычка у нас. Вопли стояли как кресты на кладбище, помечая места для будущих могил. Земля грохотала что твое бизонье сердце. Кошмар, да и только. Уж не знаю, сколько там поубивали с одной и с другой стороны, а я сам только одного и убил. Насколько помню, он сам на мой штык бросился. Я его держал как загарпуненную рыбину. Он скалил окровавленную зловонную пасть и у меня перед лицом размахивал ножом.

Длиннолицый провел пальцем по щеке.

– Вот шрам и остался. А индеец этот или, может, не индеец вовсе, обмяк и навалился на меня. Мы лежали так, друг друга обнимая, и пока он умирал, я ощутил это с головы до

пят. Да, сэр. Словно меня с ним связывало чувство вне времени, что дороже любого кровного родства.

Длиннолицый изучал взглядом окружающий простор, потом заговорил опять:

– И оно поднималось во мне, это чувство, как солнце, или как волна над океаном; из далекого-далекого и позабытого прошлого, где нет закона, ведомого человеку. Где есть только тот закон, который нашептывают своим слушателям окровавленные камни с лицами богов. И где нет иных защитников человечества, кроме чего-то неведомого, голодного и вечно кровожадного, что живет в этих камнях, в беспамятстве, в бесчувствии, требуя от идолопоклонников службы и крови.

Кареглазый слушал его с побледневшим лицом.

– Не стыдись чувствовать вину, – сказал наемник. – На бесплодную землю и желудь сторонится упасть.

– А ты сам-то чувствуешь вину?

– А ты пораскинь мозгами. Кто божью работу делает – у того совесть чистая, что ярмарочное седло.

– Божью работу? Я думал ее священники делают.

– Нет. Как я могу усомниться в пути? Путь мой сам господь назначил. И он меня отладил по своему усмотрению, чтобы я по этому пути шел до конца. И то, что к моему пути относится, я немедленно узнаю и поступаю с этим, как положено было и назначено господом. То есть расправляюсь с этим кроваво и жестоко. А то, что чужое – с тем пусть дру-

гие берутся.

Кареглазый утер лицо и сплюнул:

– Вот и у меня схожие взгляды на жизнь.

Длиннолицый ухмыльнулся.

– Вот тут ты привираешь, паршивец, ибо взгляды человеческие – суть содержания человеческие, и человек излагает свои взгляды непосредственно. Не только на словах.

Кареглазый ответил:

– А я излагаю мои взгляды не только на словах.

– Вот сучий сын упрямый, ты просто-напросто повторяешь мои слова. Переставляешь их местами бездумно как вторящий ходам шахматных фигур имбецил. Но я тебя не осуждаю, парень. Здесь не суд господень, а я – не господь бог. И случающееся не случайно. Оно происходит с нами по согласию, которое не было нашим условием.

– Чего?

– Сам посуди. Ты застрелил женщину, но пытаешься убедить себя, что это случайность. Поэтому твоя причастность к убийству допускает отмену. Но никакая случайность не может быть посторонним вмешательством, чем-то нечаянным. Напротив, сынок, она predetermined и движется тебе навстречу в чреде обстоятельств и условий. И происхождение ее запланировано заранее тем, как ты реагируешь на то, что происходит с тобой.

– Я не...

– Ты покинул дом отчий с богопротивной жадной мести

в сердце. Но у нашего мздовоздателя чувствительные весы. И он никогда не ошибется в мерке своей, ибо как он пойдет против природы своей и не отмерит тому, кому отмеряет и чем отмеряет?

– Хватит болтовни пустой.

– Все пустое в мире.

– Как скажешь.

Они продолжали путь. Странное слияние людей, лошадей, мула и окружающего пейзажа в этом мрачном пекле, где воздух дрожал от зноя и звона мошкеры. Тени, отброшенные пролетающими птицами, скользили в желтом-желтом выгоревшем пырее; волнистыми линиями проносились по веткам карликовых деревьев и кустарников, словно стаи летучих мышей. Безымянные места. Окутанные жуткой дремотой пространства, раскинувшие свои всемогущие члены во всех направлениях, как человек, пригвожденный к кресту, чей нечаянный жест мог быть воспринят как проклятье или благословение, и, в силу веры, немедленно обретал могущество над всем живым.

По черноземному ландшафту равнин вдалеке брели, исчезая в сизом типчаке, вилороги с безволосыми крупами.

– Эй, вождь, а можно мне свободную лошадь уступить или хоть мула? – спросил Холидей. – Я ведь не какой-нибудь индейский маг, а тут земля горячая, что твои угли!

– Господь с тобой, – усмехнулся длиннолицый.

Кареглазый молился, чтобы поскорее наступила ночь. Но

этого не происходило до тех пор, пока они не увидели вдалеке взлохмаченную опушку холма, который походил на голову отшельника, смиренно склонившегося перед солнцем, будто для пострига.

Палившее беспощадно, оно наконец-то закатилось, как глаза мертвеца. Ночь они провели в тишине и молчали. Карглазый утирал перекошенное лицо шейным платком и не мог отвести взгляд от жуткой мешанины, мерещившейся ему в небе.

Там миллионы перекрученных членов сходились в одну точку; и руки, и ноги, и тела, и рты, и уши, и глаза, как сухие ветви и сухие листья. Все трепетало, пронизанное жаром, в одном адском полуночном котле. И выглядело оно так, будто всю эту массу с неистовым усердием впихивали туда, ломая кости, стремясь уместить как можно больше переломанных и изувеченных конечностей в чудовищную мясорубку.

Солнце исчезало, потом вновь восходило, меняясь местами с луной, как в руках жонглера. Небо и земля были соединены разукрашенными линиями, похожими на позвоночные столбы титанов. Далекие неземные огни и оптические иллюзии ослепительно иллюминировали, чередуясь между собой в этом балагане. Звезды продвигались по небосводу, оказавшись, как и все прочее, пленниками общей композиции, узниками какого-то замысла, который никому не дано постичь.

Солнце, луна, пустыня и небо оставались неприкосновенными и неизменными величинами, все остальное приходи-

ло в упадок. И в этих странных местах даже люди, которых он считал настоящими, могли оказаться не более чем плоскими фигурами, наклеенными в различных позициях, из которых они переходили как бы друг в друга, словно их нужно было быстро тасовать, чтобы получилась последовательность осмысленных телодвижений. И все это происходило с ними на замкнутой поверхности вращающегося шара оракула, на лобной доле пульсирующего от лихорадки мозга.

Кареглазый заснул, но очень скоро был разбужен. Длиннолицый намертво придавил его к земле, а горбоносый сбросил с него сапоги. Стянул с брыкающегося ковбоя модные джинсовые левисы с медными заклепками и кожаными пуговицами.

– Модник, черт тебя!

Длиннолицый обхватил извивающегося мальчишку руками сзади и одну за другой расстегнул пуговицы его клетчатой рубахи, а затем сорвал ее с плеч, как шкуру со зверя.

– Красота!

Кареглазый, уткнувшись лицом в землю и не понимая, что происходит, звал на помощь и пытался сопротивляться, но длиннолицый коленом придавил его и держал голову. Холлидей, наблюдавший за ними из тени от костра, захохотался смехом.

Когда наемник отпустил его, кареглазый вскочил. Был он голый, в одном только исподнем, с перепачканным лицом.

– Что за ребячество!

– А ты, малец, не злобься. Другей-приятелей у тебя здесь нет и заступиться за тебя некому. Прими наказание как мужчина.

– Какое наказание? За что?!

– Не горлань, говорю.

Они натянули между высоких кустарников веревку, на которой горбоносый развесил одежду кареглазого. Длиннолицый быстрым шагом направился к лошадям, вытащил из чехла на луке седла короткоствольный винчестер кареглазого.

– Эй, не трожьте! Это отцовское!

– Тихо, а то беду накличешь.

Горбоносый потушил сигарету о пончо кареглазого. Окурок бросил ему в сапог и пнул. Отошел на расстояние, отсчитав вслух десять шагов. Повернулся, достал из кобуры револьвер, оттянул курок за спицу, поставив спусковой крючок на боевой взвод, барабан провернулся на камору.

Горбоносый прицелился в рубаху и выстрелил. Рубаха едва-едва колыхнулась. На первый взгляд казалось, что на ней не осталось и следа. Горбоносый опять оттянул курок, прицелился и выстрелил. К гремящему звуку присоединился короткий щелчок. Пуля отстрелила пуговицу. Затем в игру вступил длиннолицый. За полминуты они понаделали с десятком прорех в пестрых шмотках кареглазого. Все заволочло дымом, воздух вибрировал, словно сквозь него были натянуты гитарные струны.

Когда стрельба прекратилась, в ушах еще звенело.

Длиннолицый сплюнул, небрежным жестом сдвинул шляпу на вспотевший затылок, где рябым орнаментом расплзался глянцевый плевок проплешины, и пригладил редкие просаленные волосы.

– А ты только дай волю воображению, голубок, просто представь, что с тобой стало бы, не стащи мы с тебя одежды.

Кареглазый промолчал.

– Волосы дыбом, верно?

Горбоносый сказал:

– Ну, зато шляпа целехонька.

– Сплюнь и перекрестись, братец, ибо шляпа – это святыня. Ее марать, что на икону плюнуть.

– И то верно, закон святотатственных действий не прощает.

Длиннолицый улыбнулся:

– А может, пусть мальчишка в зубах консервную банку зажмет?

– Это еще для чего?

– Как это? Поупражняемся в меткости.

Наемник упер приклад винчестера в плечо и навел ствол на кареглазого, легонько дернув его вверх, будто выстрелил.

– Пиф-паф.

– Не-е...

Кареглазый отмахнулся:

– Не законники вы, а сучьи сыны!

Горбоносый вдохнул полной грудью, сплюнул и недоброглянул на мальчишку своими маленькими оловянными глазами. Длиннолицый покачал головой.

– А ты посмотри на ситуацию с другой стороны, – сказал он. – Вот кто спросит, что у тебя со шмотьем приключилось, так будешь всем рассказывать о геройском, о рыцарском подвиге! О том, как ты один был, а на тебя двадцать преступников закоренелых и до зубов вооруженных. И стреляли они в тебя из ружей и пистолетов, и ножи запихивали... К слову нож можно и употребить для достоверности... И кто чем тебя резал и бил, и стрелял. Одежки твои искромсали, а на тебе и царапины нет. Чудо!

И, присев на валун, длиннолицый утер лицо и, мелодично присвистывая, принялся разглядывать испещренное звездами небо – так просто, будто разглядывал собственную ладонь, чей след отпечатал на отсыревшей стене первобытной пещеры.

– Спой-ка мне, сынок, из ковбойского репертуара, – сказал он.

Кареглазый фыркнул.

– Сам себе пой.

Горбоносый перезаряжал револьвер.

– А что, спой-ка. От песен еще никто не умирал.

– Не буду я петь.

Ковбой поднялся и направился к веревке, снимать одежду.

– Ну и зря, малец, а я бы аккомпанировал. Фью-фью-фью!
Холидей жалобно завыл.

– Оооу, сколько ночей мне и сколько дней жить! Оооу, вновь я вдали от дома! Время меня без ножа режет. Здесь ночи вдвое длиннее, а дни – как решетки на окнах! Оооу, голова моя посыпана пеплом, а сердце очерствело. Но я счастлив! Я не видел хлебов насущных, но благодарил бога, как научен! Оооу-оооу, пустыня гола как сокол! Одинокая тень, чье небо – земля! Хочу поднять руки и испить святые воды из чаши неба! Оооу, дух мой томится по дому! И я как зверь в капкане – пытаюсь отгрызть свою лапу и скинуть с себя оковы смерти! Прими меня, Отче, по весточке из голубиной почты, туда, откуда я родом, в страну радости и жизни!

Глава 4. Хлеб для людоеда

Утром вновь солнце надулось багровой головкой полового члена перед семяизвержением и, не дожидаясь, когда оно извергнет свое испепеляющее пламя, они продолжали путь в промозглой прохладной тени. Вечер не наступал долго, а когда наступил, то опустился внезапно, как занавес.

Где-то в полумиле от них, трепеща в знойном воздухе, по цепочке продвигались странные существа, уходя в направлении, противоположном путникам. Очередной рассвет вот-вот должен был настичуть безмолвный гурт, но стадо будто исчезло во тьме, из которой вырастал выгоревший с восточной стороны лес облезлых деревьев с бесцветной корой. Звезды горели ярко, и света луны было достаточно, чтобы не останавливаться до зари.

Горбоносый обернулся на крик, когда кареглазого вышвырнула из седла лошадь.

Она покачивала из стороны в сторону головой и отталкивалась передними ногами, разворачиваясь и фыркая, будто ее окружало незримое препятствие, сотворенное ее же жарким спутанным дыханием; и теперь она пыталась пятиться от него, раздувая ноздри, тараща глаза и клацающая зубами. Горбоносый спешил, быстро утихомирил ее, приговаривая добрые слова и наблюдая, как кареглазый, корчась, поднимается.

Длиннолицый, сложив руки, ссутулился в седле и, понурив голову, жевал табак, нашептывая что-то своим лошадям. Потом посмотрел на кареглазого и рассмеялся.

– Хорошо хоть не на мою шляпу приземлился!

– Ну, что там? – спросил ковбой.

Горбоносый подошел к нему и задрал его рубаху, изучая кровоподтек.

– Хорошая такая блямба. В седло вернешься.

– А что остается? Не пешком же идти.

– Трус, убийца и рохля! – рявкнул Холидей. – Даже конь твоя чует твою трусость – отдайте ее мне! Я больше заслужил...

– Тихо! – внезапно прошипел длиннолицый.

Он выпрямился, сплюнул и прищурился, на мгновение застыв полностью, будто от удара молнии. Затем повел лошадей в сторону, откуда хорошо просматривался оставшийся позади путь. В мимолетном чередовании стволов показалась тень, чье движение нарушало покой этих мест и выглядело посторонним, не принадлежавшим этому многовековому монументу застывшей природы.

– Медведь? Волки? – спросил кареглазый.

– Смрад бы стоял.

– Хуже, красные! – ответил длиннолицый, выхватывая оружие и прицеливаясь.

Краснокожий сидел на выючном муле.

Мул был уже старый, но ретивый. Краснокожий же еще

мальчишка. С хвостом длинных черно-синих волос, в разукрашенном капюшоне с колпаком, который делал его похожим на палача. Одет он был в перепоясанный мешковатый капот с передним разрезом на пуговицах, но теперь расстегнутых для верховой езды.

Жилистые безволосые голени и босые ступни, маленькие, как у женщины. Сам мальчишка тощий, с узким лицом и римским носом. Черной кожей и черной кровью, как у шахтера. Под серыми ногтями фиолетовые дужки грязи, а единственное белое, что у него было – это белки обезвоженных соколиных глаз, сверкавшие в полутьме. Индеец разглядывал необычных иноземцев, чужестранцев, статуй из иной глины.

Кареглазый, настороженно подобрав слетевшую с него шляпу, начал кулаком утрамбовывать тулью и отряхивать ее от песка и пыли, не сводя при этом глаз с краснокожего.

Индеец молча поднял руку, будто благословил.

– Господи! Это просто мальчишка, – вздохнул кареглазый.

– Чертов язычник! – фыркнул длиннолицый. – Красная смерть!

– Зуб даю, он тут не один! – поддержал Холидей, стреляя глазами.

– Тихо. Ты нашу речь понимаешь? – обратился горбоносый.

– Да, – коротко ответил индеец.

Наемник сплюнул:

– Уже что-то.

– Есть с тобой кто-нибудь?

– Я был с мужчиной. Белым как вы.

– Да, и где он? Под шестью лопатами земли?

– Нас преследовали другие белые. Он пошел одним путем,

а я – вторым. У меня его вещи и мул.

– Ты один?

– Я один.

Холидей крикнул:

– Он лжет!

– Угомонись, – повернулся к нему горбоносый.

– Ну уж нет! Хочешь, чтобы они твою башку по-индейски побрили, а мозги своим собакам дали полизать, что засоленное мясо!? Так и будет, поверь! Он лжет, ему же сам черт за каждую изреченную ложь по монете в карман кладет! Мы уже мертвецы! Нас порубят на куски. Будь я проклят. Сгинуть в ночи от рук безбожников, дикарей, собак!

Длиннолицый ответил:

– Я согласен с ним, братцы. Сердце мое чует, что дело нечисто, и я так рассуждаю, что если Господь на моем пути дикаря ставит, то тут как в шашках, либо ты ешь, либо тебя едят. И каждый делает, для чего рожден. Я вот рожден, чтобы потрошить нехристей всякой масти. Черных, желтых, красных. И пути этого придерживаюсь уже много лет, и пока не ошибался.

Кареглазый напрягся.

Горбоносый сплюнул и отвернулся от наемника, спокойно спросил индейца:

– Ты откуда идешь?

Индеец ответил.

– Оттуда, куда солнце садится.

– С запада, что ли?

– Да.

– А что в той стороне?

– Уже ничего.

– Ничего. Ну, конечно. Имя у тебя есть?

– Я – Плачущий в Жаре Пихт.

Длиннолицый брезгливо сплюнул.

– А я Дареный Конь, и в зубы мне не смотрят, – сказал он. – Это вот маршал Гордый Орел. Мальчишку звать Дрожащий Олень, а тут у нас Оуэн Холидей – насильник, убийца и разбойник. Яростный Лось.

– Не отвечайте ему, – сказал Холидей. – Краснокожие все как один убийцы, они же нас живьем обдерут, куска родной кожи не оставят! Я-то о своих волосах помню и вам не рекомендую забывать о ваших...

Горбоносый спросил индейца:

– Где твои?

– Мои?

– Да. Ты же из черноногих.

– Я один.

– А куда ты направляешься?

– Никуда, я просто иду.

– Заблудился?

– Нет, не заблудился. Мне некуда возвращаться.

– Ты местность эту хорошо знаешь?

– Я здесь никогда не был. Но бывал в местах похожих.

Индеец говорил и пронзительно смотрел на кареглазого.

– У меня что, лицо испачкано? – спросил тот и надел шляпу.

– У тебя к нашему другу вопросы какие? – спросил длиннолицый, все еще целясь в краснокожего из своего револьвера.

– Это был он, – коротко отозвался черноногий.

– Что? Я? – спросил кареглазый.

– Вы убили много людей, – сказал индеец. – Я там был и видел вас. Вы застрелили мужчин и женщину. Я ее знал.

Кареглазый промолчал.

– Женщину? – сплюнул длиннолицый. – О какой женщине говоришь? Не о той ли чернявой, которую нам хоронить из-за его меткого глаза пришлось.

Индеец показал пальцем на кареглазого:

– Пусть он говорит!

– Спокойно, друг, – вмешался горбоносый.

– Ну, мне-то сказать нечего.

– Пусть убийца говорит.

– Я не убивал никого!

– Я видел.

– Черта с два!

Черноногий промолчал, только смотрел.

– От чьей угодно пули она могла погибнуть. Пусть они поклянутся, что каждого застреленного ими разглядели! Темно было, пыль коловоротом. Вот и вся история!

Горбоносый помалкивал. Длиннолицый противно улыбался.

– Нечего мне сказать кроме того, что уже сказано! Хватит на меня тарашиться...

Длиннолицый сплюнул и ухмыльнулся:

– Ты бы еще сказал, что баба та умерла до того, как ты в нее выстрелил. Видать, с перепугу.

– А может, так и было! Не знаешь, как оно случилось, вот и не говори. Головы покатались, ничего не изменишь!

– Ну, довольно, почесали языками и будет...

Пользуясь замешательством, Холидей подступил и ловко выудил нож у длиннолицего из сапога. Молниеносно напрыгнул со спины на горбоносого, сшиб с него шляпу и сделал вращательное движение связанными руками у него над головой, туго затянув петлю на вспотевшей шее. Стал водить ножом по лицу.

Кареглазый растерялся, длиннолицый выругался.

– Убью! – крикнул Холидей. – Ты, морда ослиная, режь веревку!

– Дурак, от нас не уйдешь, – прохрипел маршал.

– Режь, говорю! И оружие бросайте на землю!

– Ты мой нож прикарманил. Нечем резать.

Он кивнул кареглазому:

– Давай ты тогда, фронт, режь! И зубы не заговаривай!

Горбоносый вскинул руку:

– Стой на месте! Не слушай его.

– Убью! Клятву даю кровавую. Мне позарез жить надо, позарез! Денег вам надо? Чего надо вам!? – Холидей поволок маршала, спотыкаясь в потемках. – Давайте откуплюсь. Вот, убийца есть у вас. Женщину убил, его на эшафот ведите! По его голову петля слезы льет не меньше, чем по мою, а я что? Кому я зла сделал?

– Не дайте ему уйти, слышали!

– Да куда он денется, – расслабленно плюнул длиннолицый.

– Вы меня, пыльные, без штанов оставили, исподнее у меня отняли, лошадь мою из-за вас пристрелили! Ни бритвы, ни лохани уже неделю в глаза не видел! Вот зарежу тебя, глаз выковыряю из башки, поглядим, какой ты будешь тогда!

Индеец дымно выстрелил из однозарядного пистолета. Мул издал ослиный крик.

Кареглазый заслонился руками и локтями, припадая к земле и думая, что выстрел предназначался ему.

Холидей запричитал, бездумно двигая кровоточащими сухими губами, продолжая бессвязно лепетать и механически мигая затуманенными глазами, которые искали, за что ухватиться.

Горбоносый крутанулся, оба перекувырнулись, повалились в пыль.

Он вывернулся и схватил Холидея за запястье. Разжал его трясущиеся костлявые пальцы и отобрал нож, отбросил к ногам кареглазого, вытащил голову из петли, откашлялся и помассировал горло.

– Сучий сын! – пробормотал он и наклонился над раненым. Правое ухо Холидея отстрелено и бугристо-рваный шрам тянулся наискось по залитому кровью виску.

– Он мертв? – спросил длиннолицый незаинтересованно.

– Нет. Жить будет.

– По мне так пусть помирает, – сказал кареглазый, поднимаясь с земли.

– Кто в меня стрелял? – прохрипел Холидей и тронул рану пальцами. – Боже, мое ухо. Где оно?

– Не зря господь дал человеку два уха. Как раз на такой случай, – наемник зашелся каркающим смехом.

– Сучья мать! Кто в меня стрелял?

Горбоносый утер кровь со щеки, где его порезал Холидей, и неожиданно все оживились, когда раздался младенческий плач. Длиннолицый присвистнул.

– Это еще что? – спросил кареглазый. – Зверь?

– Ребенок, черт тебя дери!

Они поглядели на черноногого.

– Это ее сын, – ответил он.

– Сын? Чей сын?

Черноногий слегка развернул мула. Завернутый в плотный свивальник толстощекий бронзово-коричневый мальчик был усажен в толстую суму с ляжками.

– Вы убили его отца и его мать. Они приняли меня как гостя.

Кареглазый в ужасе сглотнул.

– Ну, что есть то есть, – отмахнулся наемник с лошадиным лицом. – Эй, слышишь? Подай-ка мне мой нож, ковбойчик.

Кареглазый протянул нож длиннолицему.

Они остановились на ночлег в миле дальше. У благозвучного чистого ручья, чтобы дать лошадям и мулам отдых. Кареглазому было поручено снять с животных поклажу, чем он и занялся, но мысли его и весь вид его были такими, словно он остался одной ногой стоять в могиле с застреленной женщиной. Он снял седла с лошадей, снял поклажу, а в промежутках беспрерывно утирал платком лицо, потную шею и отмахивался от комаров. Про мула, нагруженного их вещичками, совсем забыл.

Горбоносый и длиннолицый общими усилиями бинтовали голову Холидею, который пытался кусаться. Краснокожий воткнул в землю веточки круговым узором, начинил его сердцевину растопкой и поджег ее.

Столбом в ночь поднялись искры, в танце с ними объединялись стрекочущие светящиеся насекомые. Холидея утихомирили угрозами и разошлись по спальникам, но никому не спалось. Ночь текла, как нефть.

Горбоносый и индеец общались полупшепотом и жеста-ми, когда речь заходила об окрестностях, лежащих за хол-мами. Кареглазый притворялся, что спит, отвернувшись на-бок и хрипя. Длиннолицый, сняв шляпу и сапоги, разглядывал в отблесках пламени старую длинноствольную винтов-ку с черным цевьем, неуклюжую как костыль. Барабанный механизм приводился в действие рычагом, но казенник был разобран, детали хранились в сумке. Ружье уже много лет не чистилось, будто хозяин боялся стереть некую историю, стоящую за этим оружием. Затем он вытащил из мешочка черную книжечку – миниатюрное священное писание, поме-щающееся на ладони, из которого с характерным звуком вы-рвал несколько страниц с перечеркнутыми строками.

– Мой папаша, господь помилуй его душу и прими в цар-ствие небесное, в годы гражданской войны странствовал по северным штатам с проповедями как миссионер. Он старал-ся внушить белым, что братоубийственная война из-за чер-ных – это могила, которую мы роем нашему брату. Но, по-верьте, могила сия достаточно глубока и достаточно черна для обоих братьев.

Кареглазый пошевелился, горбоносый покосился на гово-рившего, а наемник все разглядывал ружье, лаская его, а вы-рванные странички отправил в костер с безжалостным ви-дом судьи-инквизитора.

– Мой папаша, царствие ему небесное, утверждал, что черные должны быть сжигаемы посмертно. Дабы ко второ-

му пришествию Христа и воскресению мертвых не осталось живой материи, из которой хоть один цветной мог бы воскреснуть на этой святой земле. Пусть они останутся камнем и глиной, а белый человек войдет в царство небесное, где и определится его судьба как борца с дьяволом. Помню, что территории нескольких штатов, по которым папаша, благодать его господь, походил в гражданскую войну и наиболее тронутые ей, он по возвращении домой вычеркнул со своей карты и назвал кровавым пятном позора на груди соединенных штатов Америки. Он ножом вырезал вычеркнутые штаты по линии границы их, как будто сорвал какую-нибудь незаслуженную медаль с мундира американского солдата и швырнул ее в огонь, во тьму, в небытие. Туда, откуда и вела свое кровавое начало это богопротивная братоубийственная война! Да, хорошие были времена... Священные деньки.

Холидей, связанный по рукам и ногам, отощавший за недели пути, с хвойными иголками в паутине включенной окровавленной бороды, с забинтованной головой, стертymi в кровь ступнями и побитыми коленями, с давнишним шрамом под глазом, сидел недалеко от костра. Он искоса поглядывал на длиннолицего. В частности, на его ружье.

– Ты веры христианской? – спросил он.

Наемник не ответил.

– И отец твой христианин? Ну так ведь я тоже! Мы единовѣрцы, брат. Ты и я. Единомышленники. Ты христианин и я христианин.

Длиннолицый молчал.

– Вижу, что у тебя на мешке крест вышит.

– Хочешь поближе посмотреть?

– Не хочу, я и отсюда вижу.

Горбоносый посмотрел на них.

Холидей плюнул в костер и оскалился.

– Вот и употреби свое ружье по назначению! – прерывающимся, лающим голосом выкрикнул он. – Давай, если ты христианин! Вон наш враг, вон он, Сатана! Ухо мне отстрелил, гаденыш, а мог бы и тебя отправить пыль кусать! Или ты струхнул, да? Да! Присмирел ягненок кроткий! Чужаком сделался среди кровнородственных единоверцев. Маршал твой самый настоящий краснолюб, по нему видно! Этот безбожник паршивый его одурманил своей мумбой-юмбой. А ты сидишь и потекаешь ему!

Длиннолицый злобно свернул на него глазами.

– Вот он, глаза раскрой! Какой ты христианин? Для тебя все одно. Что с Христом, что с людоедом хлеб преломлять. Для тебя что гроб господень, что притон разбойничий. Все одно! У тебя душа негритянская, язычник чертов! – рявкнул Холидей и сплюнул. Длиннолицый подскочил как ошпаренный.

– Собака! Убыю!

Горбоносый с внушительной неторопливостью поднялся. Непроницаемым взглядом оловянных глаз сказал длиннолицему все, что не смогли бы выразить слова и, отряхнув со

штанин пыль, опустился опять на место.

Длиннолицый отдышался. Направился к лошади, злорадно присвистывая. Из кармана седельной сумки вытащил металлический ларец, в котором хранил бритвенные принадлежности – фарфоровую чашку, кисть, бритву и застывшую пену в баночке. Вернулся к костру с раскинутой бритвой, лезвие которой сверкало в отблесках пламени.

Холидей попытался пошевелиться:

– Ты что это удумал, сучий сын?

– О-о, сейчас узнаешь!

– Эй, маршал, вождь, ты что же, этому живодеру меня кромсать разрешишь? Останови его!

Горбоносый ответил:

– А ты не дергайся, больно не будет.

– Да ведь я не во зло! А, сучьи дети! Вот, парень, вот закон, вот его рук дело! Сперва лошадь мою убили, а теперь меня будут на ремни резать! Не отворачивайся, гляди, как меня кромсать будут!

С минуту длиннолицый постоял, проделывая маленькие трюки складной бритвой, возвышаясь над Холидеем и присвистывая, покачивая головой и будто оценивая, с какой стороны приступить.

– Не вздумай сопротивляться, а то ведь порежу. У меня левая ни к черту, знаешь ли...

Длиннолицый встал у него за спиной со злой улыбкой и странным блеском в глазах, правой рукой наклонил перебин-

тованную голову Холидея, бритвой прошелся по шуршащей щеке. Посыпались черные курчавые волоски. Обнажилась сизо-серая поверхность на удивление молодцеватой щеки. Кареглазый, горбоносый и черноногий наблюдали за ним.

– Тот израильтянин, кому насильственно сбрили бороду, считался опозоренным! – сказал длиннолицый, ловко перемещаясь вокруг Холидея.

Он наклонялся, задирая ему пальцем кончик носа, вертя его головой как шекспировский персонаж черепом, и движения его были непринужденно-решительными, быстрыми, словно он родился цирюльником.

Черноногий, как и остальные, неотрывно следил за кропотливыми движениями и перемещениями длиннолицего. Так продолжалось несколько минут, пока он то приседал на корточки, то поднимался, то наклонялся, поблескивая бритвой и очищая ее плоскость от приставших волос большим пальцем. И все время злым голосом цитировал по памяти отрывки из священного писания.

– Подобно язычникам, они бреют голову свою! Подравнивают бороду, безобразят плоть господню шрамами и татуировками!

Холидей закатывал глаза, моргал, жмурился, и ощущал свежевыбритой кожей неприятное теплое дуновение. Он не почувствовал пореза над губой, но кровь потекла быстро, как ручей, и щетина стала неопрятной каннибальской маской. Когда он попытался слизать кровь, то длиннолицый ак-

куратно, не прерывая процедуры и уже запланированного движения бритвы, порезал ему самый кончик языка и уголок приоткрытого рта. Холидей поморщился, из гортани его вырвался щелкающий звук.

– Крику много, а шерсти мало от маленького барана!

Длиннолицый утер о штанину запачканное кровью лезвие, перемазанную ладонь вытер круговым движением о лицо Холидея. Затем, сделав полный круг, он остановился у него за спиной, и кареглазому показалось, что сейчас он перережет пленнику горло.

Кровь польется в огонь.

– Семь раз, как говорится, отмерь – отрежь один, – сказал длиннолицый.

Он размотал бинты и принялся брить Холидея наголо, звучно скобля по обритым местам как по кости и беззаботно присвистывая.

– Во все дни назорейства бритва не коснется главы его!

– Ну, подонок, дай только мне...

– Тихо, овечка!

Когда длиннолицый кончил брить, то отступился и оглядел плоды трудов своих, словно господь во дни творения. Блестящая начисто выбритая голова, широкий лоб, изрезанный морщинами и мокрый от испарины и крови. Тонкий нос и ввалившиеся щеки с темно-синим отливом после того, как срезали обильную бороду, стали выглядеть чужими и не относящимися к этому загорелому лицу, словно их нашили по-

верх, как кожаные заплаты. Длиннолицый взял его за подбородок и вынул из кармана штанов небольшие щипцы для ногтей.

– Рот открывай.

Холидей стиснул зубы и поджал губы.

– Рот, говорю, открывай!

Горбоносый сказал.

– Ну хватит с него.

– Я решаю – когда хватит, а когда нет. Открывай рот! Сгнилыми зубами, единоверец, как с грехами – чем они черней, тем болезненнее их будет вырывать. А у тебя, поди, от твоего сквернословия ни одного зуба белого не осталось – весь рот сгнил. Но ничего, я это исправлю очень быстро...

Горбоносый сказал:

– Оставь его в покое, по-человечески прошу.

Длиннолицый сплюнул.

– А если нет?

– Тогда по-другому попрошу.

– Это как?

– Узнаешь.

– Ну если ты просишь, будь по-твоему.

Прядь волос Холидея длиннолицый аккуратно завернул в папиросную бумагу, которую вытащил из кармана куртки. Потом вернулся к костру, взял ружье и, поглаживая его, пообещал, что непременно продаст волосы шаманам шайенов, которые используют их в качестве жертвоприношения сво-

им идолам.

Следующие несколько часов тянулись вечно. Черноногий глядел в пламя, протянув к его жару ладони, будто в жесте адорации и почитания святых даров божиих. С ранней зарей они собрались в путь – но длиннолицый мерзко хохотнул и сообщил, что их мула кто-то увел, а в сторону уходит тропинка следов.

– Ну, братцы, я ведь предупреждал.

– Ты о чем?

– Нутром чую, красные мула увели, пока ты с ним дружбу водил, – и, покосившись на полукровку, наемник сплюнул.

– Да этот черноногий из тебя святого духа выпугал, – расхохотался маршал. – Тебе уже в каждом шорохе листьев краснокожие мерещатся. Того и гляди от своей веры во Христа скоро начнешь шарахаться как от черта.

Длиннолицый стиснул челюсти, подвигал подбородком и сжал кулаки, хрустя суставами.

– Теперь и ты со мной в ад поиграться вздумал? – прорычал он. – Дьяволу адвокатствуешь! И мою веру христианскую с навозом не смешивай, слышишь меня, подпорка ты гнилая! Вот суды и стоят, что твои сараи, без окон, без дверей, потому что в них продажные безбожники. И не вздумай меня перебивать, пока не договорю, слышишь! А я вот что скажу. Мне с этими тварями красными, желтыми, черными, коричневыми – хоть всех их в кучу сгребь, мне с ними брататься противно, да и самому Богу они осточертели! Сам глянь, как

он свой гнев вымещает на цветных...

Горбоносый равнодушно сказал:

– Ты у нас за всевышнего глаголешь?

– За него самого! И над этой нечистью не святая троица силу имеет, уж ты поверь мне на слово. Срамные божки язычников. Их потерянное племя никакими сладостями к цивилизации не вернешь. Они грязь, плоть и дьявол. У них всякого жита на лопате перемешано! И в сердцах у них камни – и души их привязаны к ним мертвыми цепями как утопленники ко дну реки...

Длиннолицый опустил руки, продел под ремень большие пальцы и стоял, плюясь и оттопырив локти, качаясь с носок на пятки.

– И вот тебе мое слово, если я вижу индейца, то я убиваю индейца. Ножом, пулей, веревкой, палкой, голыми руками или камнем, что Господь под руку положит. Меня так отец научил, служба научила, да и просто – жизнь научила. И ни разу мне локти кусать не пришлось, что усомнился в собственной правоте. Будь мы даже последние спасители на ковчеге, я этим безбожным тварям не дал бы шанса. И этому мокасину спуску не дам. Вот тебе мой зарок.

Кареглазый поднял руки, отступился и сказал:

– Не хочу в этом участвовать, парни. Что бы тут не назревало, я пас...

Горбоносый снял шляпу, пригладил волосы и спросил у наемника.

– Говори, ты мула спрятал?

– Не я! – рявкнул длиннолицый. – У индейца своего спрашивай, кто и что!

Он указал направление жестом руки.

– Может, еще успеете догнать. А мы с ковбоем и Холидем тут подождем. Одну тропу с индейцем я делить не буду. Хоть глаза мои повыкальвай да ноги мне поломай, лучше пропадом пропасть.

Глава 5. Все человечество

Долговязый и древний, как сам мир, чьи знания он получил неведомыми путями, темными и священными. Он пересек поляну и направился к приречному городку, шагая в грязных старых сношенных сапогах.

Солнце тускло освещало мглистую местность, и глазу не за что было зацепиться в бледно-сером неподвижном пейзаже, который словно застыл в капле смолы, словно зародился в ней, развивался в ней, медленно и вопреки остановившемуся времени. Светловолосый оборванец в одном тапке и грубой рубахе с палкой в руке перегонял блеющих коз со двора во двор, не обращая внимания на немногочисленную публику. Березовый ствол в пожухлом наряде утопал в цветистом дерне у дороги. Над темным кровоточащим пнем, напоминающим огарок свечи, жужжали комары и стрекозы, будто черное извивающееся пламя этой умершей свечи. Дети, столпившиеся вокруг, тыкали поломанными ветками в липкую поверхность пня. Старались, чтобы налипло больше сока. Затем махали палками в облаке мошек, которые вязли в густой капающей массе, после чего ребятня давала дворнягам облизывать прутья.

Он пересек улочку и вошел, пригнувшись, в помещение. Рябой мужчина в пятнистом фартуке протирал сухой тряпкой внутренность стакана и, поглядев сквозь донышко на ис-

точник тусклого света у потолка, поставил его куда-то под стойку. Тот, кто вошел, огляделся маленькими прищуренными глазами. На верхней ступеньке лестницы возникла толстогубая чернокожая женщина с метлой в одной руке и ведром в другой.

Он посмотрел на нее. Она – на него. И продолжила заниматься своим делом. С вибрирующего потолка сыпался тонкими струйками песок, сверху доносились отрывистые голоса, обменивающиеся фразами на чужом наречии.

Пустующие столы в мрачной прокуренной зале. Тот, что вошел, направился к единственному посетителю. Белобрысому неприглядному мужчине, который склонился над остывшей похлебкой в раздумье. Он поднял глаза, когда, отодвинув стул, к нему за стол сел вошедший негр.

Белобрысый посмотрел на пустующие столы и опять на негра.

– У тебя с глазами плохо, дед?

Негр был старый, безносый и безбородый, с длинными седыми волосами как у библейского судьи, и напоминал летучую мышь своими одеждами, темными и потрепанными.

– И глухой, что ли? Тут занято.

– Я ищу одного, – сказал негр.

– Да? И я его знаю?

Негр промолчал.

– Не встречал я тебя здесь раньше, – сказал мужчина.

– А я из других мест.

– Да? – Белобрысый потянулся к плевательнице, высморкался и сплюнул, поглядывая на негра. – Слушай-ка, дед...

– Я слушаю.

– Кого бы ты здесь не искал, я тебе советую пойти поискать в другом месте. Сейчас мой приятель из сортира вернется, а он сегодня злой как тысяча чертей. Слышал, что говорю? Или громче повторить. Приятель из сортира вернется и накостыляет тебе!

– Не жди его, – коротко сказал негр.

Белобрысый шмыгнул и утер нос:

– Да? Это почему?

– Он не придет.

– Почему это?

Негр промолчал.

– Не прибил ли ты его, случаем?

– Он жив.

– Да... А где он тогда?

– Уже далеко. Ты не малодушничай.

– Чего?

Негр не отвечал.

– Ты кто такой?

– Меня зовут Барка.

– Пустой звук для меня имя твое. Скажи лучше, чего надо?

– Кто тебе пообещал денег за голову индейца?

Белобрысый отклонился.

– Какого-такого индейца?

– Ты знаешь.

– Черта лысого я знаю.

– Сколько получишь за него?

Белобрысый облокотился на спинку стула, а другую руку опустил под стол и принялся часто притопывать ногой.

– Чем раньше скажешь, тем раньше я уйду.

– А если я не скажу?

– Тогда и я не уйду.

– Я сам уйду.

– Далеко не получится.

– Не пугай меня, дед.

– А я и не пугаю. Просто не отпущу.

– А я и спрашивать не буду! Уйду, если нужда припрет.

Вот и поглядим, какими средствами ты меня останавливать будешь.

– Ну иди.

– И пойду, а ты что сделаешь?

Негр не ответил. Мужчина топал ногой.

– Вооружен ты чем? – спросил он.

– У меня только нож.

– Только нож?

– Этого хватит.

– Для старика? Сомневаюсь.

– А ты не сомневайся – это дьявол. От него жизнью небрежешь.

– Тьфу, вот что я думаю о твоём дьяволе!

Негр промолчал. Белобрысый улыбнулся и положил на край стола ребро ладони, а в руке держал направленный негру в лицо пистолет. Рукоять из черного ореха, ствол круглого сечения по всей длине увенчан курносой медной мушкой. Когда-то полированная фурнитура потерлась и утратила блеск. Другой рукой белобрысый сделал жест, словно демонстрируя фокус с исчезающей монеткой, проведя ладонью над оружием, и стальной курок оказался взведен.

– Ну, а такое видал?

– Да. И всегда кончалось одинаково.

Белобрысый выждал минуту.

– Не вразумляет? Могу и кролика из шляпы достать.

Негр протянул руку через стол, взял его шляпу и примерил.

– С ума сошел, старик!? Ненавижу, когда всякая деревенщина лапает мои вещи. Прочитать бы тебя, да вижу, что впустую потрачу день и пулю. У тебя, видать, от старости мозги в куриное дерьмо превратились – а дерьмо, как известно, на хлеб не мажут. Вот и я не буду.

– Жизнью небрежешь, – скрипучим голосом сказал негр. – Человеком небрежешь, хоть и сам человек. Ты и самим собой небрежешь. Но я тебя не убью, пусть ты ищешь смерти, но не от моих рук.

Белобрысый наклонился, глядя на старика:

– Ты мне чью веру проповедовать вздумал?

– Скажи, кто за голову индейца платит и где найти его, и я уйду.

– Мать твою! Духом святым побожусь, старик, – парень перекрестился. – Спроси опять, и я у тебя во лбу дыру сделаю!

– Опять слова. Но они в прошлом. Ты мог их произнести сегодня утром или в день сотворения мира. Они в прошлом, а мы здесь. И ты чувствуешь, что не хочешь поступать так, как сказано. Не уверен, что хочешь уйти в прошлое вслед за своими словами. По глупости сказал их. И теперь, я вижу, что ты пожалел о них.

Белобрысый поднял ладонь, думая утереть пот со лба, но передумал.

– Я уйду, не пытайся меня остановить.

– Одной пули мало, чтобы меня свалить.

– Да?

– Многие пытались.

– Сегодня будет одним больше. Мало тебе, что нос отстрелили, я тебе еще и глаз вышиблю.

– Убьешь старика? Не будет этого.

– Ошибаешься. За тысячу долларов я с тебя три шкуры спущу и не поморщусь. Мне эти деньги как воздух нужны, а тебе столько не прожить, чтобы их потратить.

– Столько за индейца платят?

– Столько, да. Но тебе их не видать, как своего носа. Все ты дела на этой земле грешной закончил? Семья у тебя есть,

дети и внуки. Ведь если нет – ты сам станешь прошлым с минуты на минуту. И некому будет о тебе помолиться.

– У меня в роду все человечество, – ответил негр. – Пока оно живо – жив и я.

– Это хорошо, папаша.

Негр сложил губы и дунул из тени, пламя свечи вострепелось и исчезло бесследно как учуявший охотника олень. Белобрысый спустил курок. Но что-то помешало выстрелу. В следующую секунду пистолет вылетел у него из руки и ударился о стену. Негр схватил мужчину за руки мертвой хваткой. Голоса на втором этаже на мгновение стихли, чернокожая женщина замерла и рябой мужчина, протиравший стойку, выждал секунду.

Пыль из-под метлы кружилась в воздухе, а затем все возобновилось.

– Успокойся, старик! Я просто мулов погоняю. Ничего плохого не замышлял. Мне только деньги нужны. На сорок долларов в месяц не нагуляешься, а когда еще долги повисли, что твое ярмо на быке...

Негр спросил:

– Так кто охотится за индейцем и где найти его?

– Я знаю, кто, ты только руки мне не ломай – я ими на хлеб себе зарабатываю.

– Скажи кто, и я уйду.

– Да много кто.

– Кто больше всех платит?

– Ну, старик, местные – публика малоимущая. Один есть. Знаю я, где искать его. Начальничек он перегонной бригады ковбоев.

– Кто?

– Медвежий Капкан кличут. Местный владелец большой скотоводческой фермы его нанял стада перегонять. В его распоряжении сотня ковбоев. Каждый знает, сэр! Медвежий Капкан готов отсыпать за башку индейца тысячу долларов серебром. Ва-банк, как говорится. За кровавую мексиканскую вендетту. Вот я и отправился в путь, чтобы себе будущее обеспечить. За тысячу долларов! Говорят, индеец этот сына его покалечил. Мальчишку. Тоже ковбоя. Руку по локоть ему отрубил одним махом, что твой початок кукурузы. Как не бывало. И кость и жилы перерубил. Вот тут. И не только его, сэр...

Негр отпустил его руки. Белобрысый потер запястья.

– Покалечил многих белых. Да, сэр... Тут сущий ад творился, что твой крестовый поход, только ребятня красная. Жгли, расстреливали и рубили белых, черных, насиловали женщин и девочек. Говорят, угнали лошадей у местного ранчера, а его самого порубили. Вожака их прозвали Красный Томагавк. Хотя те, что выжили, говорят, он тесаком мясничьим орудует. Но имя, надо сказать, по заслугам ему дано. Его скальп нынче в большом почете. Из телеграфной станции местным сообщили, что скоро придут по его душу и дружков его федеральные маршалы в числе полусотни и по-

лицейские. Бог знает, сколько.

Негр слушал.

– Но с тех пор уже дней пять прошло, видать, край наш сам по себе, да и народец нетерпеливый. Может, кто Красного уже линчевал на первой ветке. Тут каждый готов от себя кусок кровавый оторвать, лишь бы мальчика прищучить. Но и я не хочу с пустыми карманами уйти... Да, сэр, неплохие деньги. Мешок серебряных долларов за башку дикаря отдельно от тела. Можем поделить пополам. Я про деньги. По пять сотен каждому. Мне и тебе. Это немало, да? Мне по случаю и такую выгоду удачей считать можно. Но, может, предложение и получше выгадаем.

Негр сказал:

– Твою шляпу я возьму.

– Пожалуйста. Мне такой партнер кстати. Деньги-то легкие. Пристрелить индейца. Что может быть проще? Ему отроду пятнадцати нет. По пять сотен мне и тебе.

Негр поднял однозарядный пистолет, в перебранке оброненный белобрысым, и положил на стол.

– По рукам? – осклабившись, спросил парень.

– Нет. Иди, откуда пришел. Деньги за голову этого индейца мои.

Глава 6. На корм свиньям

Горбоносый и черноногий с младенцем за спиной, оба верхом, в быстром темпе пересекли равнину по следам мультых копыт и сапог.

В первый час скачки плотный безветренный воздух накрыл их разгоряченным одеялом. Сквозь шляпу солнце напекало зачесанные залысины горбоносого. В своей колеснице светило двигалось по ипподрому неба, раздумывая над захватническими планами и возглавляя персональную военизированную коалицию; рдеющие отраженным светом облака, состоящие в его подчинении, раскинувшись, как чудовищные щупальца во все стороны, на протяжении утра меняли очертания, уподобляясь странам и даже целым континентам, дрейфуя в нерушимой безводной синеве.

Странники, против воли замороженно наблюдая за рассветом этой солнечной империи, на время забылись.

Горбоносый сказал:

– Что камень в сердце своем остается камнем, сколько его не обтесывай – ничего не отыщешь, кроме камня, так и солнце, сколько не проникай в его глубь – огонь и жар, а человек, сколько его не исследуй – тьма.

К полудню жаркая серебряная атмосфера потемнела и зазвенела моросью, и загудела порывистым ветром. Небесное светило затерялось в подшерстке набегающих туч. Черноно-

гий заметил луну. Тусклое и изможденное лицо умирающего старика.

На своем муле, а горбоносый на лошади, с возвышенности они оглядывали простирающееся во всевозможных направлениях бледно-голубое море отяжелевших песчаных валов. В своем стремлении к совершенству они застыли, казалось, навечно.

На их гладких отшлифованных равнинными ветрами скалах оживал рисунками и арабесками будто одушевленный песок, чьи скоротечные переливы и меняющиеся оттенки создавали впечатление непрерывно движущихся диковинных стад. Они то пробуждались и легко скользили подобно змеям, то замирали в тягостном напряжении. Их утомительная и бесцельная скачка в безбрежности затягивающего пространства длилась уже много веков.

– Там, – указал направление черноногий.

– Что? Где?

– Там, видишь?

– Вижу.

Они приблизились к вещам, которые сбросили как лишний груз те, кто увел у них мула. От бесформенного продырявленного мешка уходил след другого вора, по-видимому, местного грызуна. Была тут картонная коробка с крупными инаязычными литерами, из которой воры забрали лепестки курительных растений. Валялась неподалеку пара маракас из плодов игуэро с прожаренными семенами внутри. Их длин-

нолицей хранил как память о молодости. Были тут и ларчики с солями, специями, высушенными гусеницами и жуками, которых длиннолицей употреблял с хлебом и алкоголем по знаменательным датам христового календаря. И домотканые мешочки с самодельной символикой для богослужений, принадлежавшие также длиннолицему.

– А тут что? А, черт!

Из узелка, развязанного горбоносим, высыпались десятки зубов с гнилью, которые длиннолицей, притворяясь церковным дантистом, выдрал по его собственным словам за прошедшие месяцы своих одиноких странствований среди прерий, утверждая тем простофилям, которые повстречались ему, что гнилой зуб – это чертоги нечистой силы и средоточие богопротивной мерзости.

Он любил высыпать вырванные зубы в полупустую коробку, если такая подвернется ему по пути, и трясти ее, катать зубы по дну и вслушиваться в получающийся звук. Он даже предложил при первой встрече горбоносому одонтологические услуги, говоря, что рот человека должен быть чист как храм, а гортань формироваться лишь правильным распеванием псалмов и молитв.

– Зеркальце... Кресты... Сборник псалмов в пуританском переводе. Одна чертовщина. Святые реликвии кочующей непризнанной церкви длиннолицего. Но денег нет. У меня там семьдесят долларов серебром было, пять банок консервов, бобы, персики и еще по мелочи. И я точно помню, что

длиннолицый после перестрелки прихватил с трупа пистолет и запрятал в сумку. Будем надеяться, что обойма в нем пустая.

Горбоносый придержал шляпу и посмотрел вдаль.

– У карапуза имя есть?

– Альсате.

– Интересное имечко, сошло бы за название горячительного напитка.

Они глядели на осыпанный искрами горизонт. Бледно-голубые вспышки молний испарялись в одном месте, чтобы немедленно появиться в другом. Они раскалывали бесконечно далекий монолитный мир затвердевших веществ на громадные непропорциональные куски.

– Смотри.

Черноногий показал пальцем.

– Что там? Дым?

– Да.

– Может, костер?

– Да. Огонь.

Горбоносый кивнул.

– Тогда вперед.

– Зачем вам эти вещи?

– У меня там личная вещь. Я ее не нашел здесь. Так или иначе, без нее я не вернусь. За мной.

По пути горбоносый спросил.

– Ты ведь видел следы, не так ли?

– Да.

– Значит уже догадался, что там могут быть мужчина и женщина?

– Да.

– Мне ждaть, что ты и в меня стрельнешь?

– Да.

– Хорошо. Вот только я бы на твоём месте не торопился при всяком случае расчехлять револьвер или что там у тебя. Однажды нарвешься на ответный выстрел. И лучше бы, чтоб в тот момент у тебя не болтался младенец за спиной.

– Он бы тебя задушил.

– Кто?

– Тот мужчина.

– Сомневаюсь. Хотя... Может и так. Не уверен, чем он думал. Не головой, это точно. Но давай договоримся. Если ты будешь нам проводником, держись у меня за спиной, поменьше открывай рот, и никогда не клади руку на пистолет, пока это не сделаю я, ты меня услышал?

– Да.

– Хорошо, сынок.

– Но я уже убивал охотников, – сказал индеец, подгоняя мула. – Я стрелял в мужчин. Бил их палками и камнями. Колол их ножами.

– Не сомневаюсь.

– Я видел, как люди умирают, и я видел, как люди убивают. Он хотел убить тебя и убил бы. Он жестокий человек с

холодными глазами. И он уже убивал людей, и видел то же, что я.

Горбоносый пришпорил лошадь, оглянулся на мальчишку и громко спросил, стараясь перекричать гром:

– И ты каждого убьешь, с кем не знаешь, как поступить?

Черноногий задумался, ответил:

– Твои речи трудные – мои дела простые. Я не понимаю твои речи. Другие люди не понимают твоих речей. Они пытаются смотреть на твое лицо, когда ты заканчиваешь говорить. Но они не понимают твои речи, как я не понимаю. Но мои дела понятны всем. Они ясно внушают страх, а люди понимают страх. Поэтому они понимают меня.

Горбоносый покосился на него. Темнолицего, с ясными глазами. Он будто жил по иному закону, отроду свободный и по природе дикарь. Обезумевший от крови царь летних эльфов, кому вскружило голову и опьянило безнаказанное насилие на приволье, и кому равного не существует в целом мире, ибо некому соперничать с ним, чтобы сломить и пробудить в нем зов, который подавил бы в нем зов его собственной крови. Все, что он делал – от насилия. Но одновременно с тем он был равнодушен к нему. Рожден в нем целиком и полностью. В крови и грехе, в грязи и пороке. Он не думал о насилии. Ему оно было чуждо и неизвестно. Что такое насилие?

Горбоносый уже встречал такой сорт людей. Тех, чей разум порожден насилием, и чья кровь порождена им, и чей хо-

лодный, как волчий вой, неприкаянный дух, мечущийся над этими обезлюдившими краями, где нет никого, чья кровь пригодна для утоления его всемогущей жажды. Он знал таких людей. Знал, что их убивали прежде остальных.

Когда странники пересекли преграждающие обзор возвышенности, то увидели, что дым поднимается от спаленного молнией кустарника. Они ускорили ход, перемещаясь по графленому и выветренному грунту алебастрового оттенка, в непроглядной полуденной темноте.

Вскоре посветлело. Они разглядели уменьшающиеся вдалеке фигуры, напоминающие своими переливами бисерную вышивку на сформированных ветрами складчатых полосах природной мануфактуры. Те чужаки, которых было двое или трое, пешком двигались прочь по направлению к реке, и горбоносый прикинул, что нагнать злоумышленников не составит труда.

– Жди тут, – сказал он. – Как договаривались.

Индеец спросил:

– Ты убьешь женщину?

– Я никого не убью. Спрячься за холмом. Тут небезопасно.

Дальше пойду один. Если услышишь стрельбу, не жди.

Горбоносый обогнал воров, держась на расстоянии, а затем стал приближаться к ним с оружием наготове, укрываясь за темнотой, звоном мороси по камням и порывами ветра. Вновь сделалось так темно, что он не мог различить очертания шелестящей на ветру сорной растительности под копы-

тами лошади. Постепенно дождь стих.

Угонщиков оказалось четверо. Темнокожий мужчина с ясновидческими глазами, подросток в белых богоугодных одеяниях, красивая черноволосая женщина и годовалый младенец, спрятанный у нее под теплым плащом. Выглядели они как беженцы из скорбного города, где по пророчеству обезглавливал новорожденных обезумевший царь. Заметив едущего навстречу всадника, мужчина выхватил пистолет и заслонил собой подростка, а черноволосая женщина закричала, то обращаясь к мужу, то к Господу, то к горбоносому, и в диком гвалте последний не мог различить ни одного знакомого слова.

Он торопливо слез с лошади, демонстративно убрал пистолет, выждал и в примирительно-приветственном жесте снял шляпу.

– Вы мою речь понимаете? – спросил.

– Уйди! – мужчина пригрозил ему.

– Успокойтесь, я маршал. У вас мои вещички.

– Уйди, а то убью!

Черноволосая непрерывно что-то тараторила, а подросток в белых одеяниях маячил за широкой спиной отца.

– Уйди!

– Не пойдет, сэр. У вас мои вещи, да и мул еще свой срок не отжил. Пусть я его за семь долларов оплатил, но хочу вернуть.

Мужчина направил на него пистолет, но черноволосая не

одобряла подобного, пытаюсь обратить мужа к благоразумию.

– Ты, я так понимаю, отец семейства?

– Уйди, застрелю!

– Успокойся, я представитель закона. Будь я враг тебе, то разговор с тобой у меня был бы короток. Собственно, на семья воровское я слов не трачу – только свинец. У тебя имя есть?

Мужчина облизнул губы, воспаленные глаза его беспомощно обшаривали местность, он нервно переступал с ноги на ногу.

– Слушай, я...

Не успел маршал договорить, как до них донесся хруст растоптанного валежника. Младенец пронзительно закричал. Горбоносый оглянулся. Он заметил в подлеске длинную тень, различимую благодаря изменчивым провалам и глубинам, образованным в незнакомом ландшафте сложной ахроматической игрой светотени. Высокорослая фигура направлялась к ним по затемняющейся с расстоянием травянистой прогалине.

Горбоносый быстро надел шляпу, не сводя глаз с мужчины, примирительно поднял левую руку, а правой потянулся к кобуре. Пот струился по холодному лбу.

– Кто там? Выходи.

Это был человек.

– Не бойтесь, мистер, – сказал негр, снимая шляпу и при-

глаживая седые волосы.

Ростом он был на голову выше горбоносого, с изуродованным безносым лицом.

– Ты еще кто?

– Я просто старик.

– Ты вооружен?

Негр улыбнулся:

– У меня нет оружия.

– А у дружков твоих?

– Я один, – ответил он и поглядел на черноволосую женщину. – Между вами раздор.

– Тебе надо что? – спросил горбоносый.

– Боишься меня?

Горбоносый не ответил.

– И правильно. Того, кто ходит по земле с неуязвимым сердцем, надо бояться. Но у вас ничего нет, что мне нужно, мистер.

У негра под мышкой был сухой хворост, завернутый в брезент. Он нашел подходящее место, пустынную полянку в тени подлеска, сел, сложив ноги, быстро расставил ветки вигвамом, втыкая их в расчищенную землю, начал растопкой и поджег с помощью какого-то инструмента. Его безносое лицо испещряли морщины. Старый негр простер ладони над пламенем, глядя на мужчину, на прячущегося за ним мальчика, на женщину и младенца у нее на руках.

Негр протянул руки.

– Могу я поддержать вашего сына?

– Она тебя не понимает, – сказал горбоносый.

– Ошибаешься. Подойдите, согрейтесь, – сказал негр.

Черноволосая женщина взяла старшего мальчишку за руку и, последовав совету негра, усадила его у огня и села сама.

– Ты кто? – поинтересовался горбоносый.

– Я уже давным-давно никто.

– Да? Удобно, однако.

– Я слишком стар, чтобы мне кем-то быть.

Негр снял сперва левый промокший сапог, а затем правый, и поставил у костра сушиться.

– У меня ничего нет, – сказал старик. – Только моя одежда, мои вериги и мое имя. Зовут меня Барка.

Негр посмотрел на мужчину.

– Украденное надо вернуть, – назидательно сказал.

– Но мой сын!

– И у меня есть сын. Его называют Красным Томагавком.

И имя дано ему по заслугам и по делам его, а они есть красные. Твои же сыновья и ты сам будут названы ворами и осуждены по закону.

Горбоносый заметил перемену в настроении мужчины.

– Твой сын – Красный Томагавк?! – спросил он.

Негр не ответил.

– Он и его индейцы убили много людей и мою маленькую дочку! – вызверился мужчина. – Они подожгли наши пастбища! В огне сгорели наши дома!

– Сочувствую вам, мистер, – ответил негр. – Но мой сын этого не делал.

– Врешь!

Черноволосая, склонившись, прижала теплую щеку ко лбу молчащего младенца и принялась его убаюкивать. Ее муж, стоявший поодаль от костра, нервно постукивал пистолетом о бедро и переглядывался с горбоносым.

– Убьешь старика – и я сочту себя следующим, на чью жизнь ты покусишься, – ответил ему маршал. – Поверь, я раздумьями себя утруждать не буду. Влеплю тебе пулю промеж глаз быстрее, чем птичка пропоет. Потому подумай хорошенько, стоит ли оно того?

– Каждого из нас привели сюда наши дети. Живые они есть или мертвые, – сказал негр. – Я просто хочу вернуть моего сына домой.

– А кто вернет мне мою дочь? Кто вернет мне мой дом!

– Не все в мире хлеб, – пожал плечами негр.

Лицо мужчины сделалось совсем темным. Глаза яростно сверкали, а злые брови складками сползли к переносице. Негр поднялся, и крохотный костерок освещал его фигуру во весь рост – он закатал левый рукав своих одежд, а затем правый рукав, и направился к мужчине, который отступал от него шаг за шагом.

– Смерть, – коротко произнес негр. – Я посеял смерть и пожал кровь. Эта кровь – манна для обезвоженной земли. И той смерти, что я посеял, не будет конца. И той смерти,

что ты посеешь – не будет конца. Я не вижу конца. Смерть не то евангелие, которое отцы должны проповедовать сыновьям в мире. Подойди, смелее... Я стар и слаб и остановить крестовый поход детей и противостоять той бойне, которую мои сыновья учинили, я не могу. Кровь моя остыла, и руки холодны. Вот, прикоснись к ним...

Негр протянул ладони и коснулся горячих щек мужчины.

– Чувствуешь? Твое лицо есть чаша, и то, что являет оно, есть отражение души твоей на воде. Из чаши изопьют твои сыны. Но сейчас ты предлагаешь им то, что их отравит. Твое лицо сковала гримаса зла. Твои сыновья не должны видеть отца злым. Мой рок старость и бессилие. Мой сын знает о моей старости и бессилии, и он покинул меня. И если сыновья жаждут продолжить дела своих отцов, если они жаждут убивать и истреблять друг друга, пусть так. Их кровь жарче и сильнее моей...

Он потянулся к руке мужчины, забрал у него пистолет – и мужчина упал на колени, словно только оружие и держало его на ногах.

– Но я больше не раб, как они. У меня свой путь, – договорил негр.

Горбоносый ждал, что произойдет. Негр посмотрел на него.

– Я вижу, что ты храбрый и честный мужчина, я вижу в тебе любовь. И ты делаешь то, что говоришь.

Маршал потер горбатую переносицу и пожал плечами:

– Как скажешь, старик.

– И тебе, милая мадонна, и твоему славному мужу, и вашим сынам подобает принять благосклонность храброго и честного человека, ибо здесь мы свидетельствуем и принимаем участие в большем, чем мы сами – и это дар всем нам. Ибо с каждым новым поколением благое в роду человеческом уменьшается, как пчелиный воск, который растворяется в скипидаре. Зло же, напротив, подобно крахмалу, что кипит в котле, набухает, разрастается. И не останется ни храбрости, ни чести. Если мы пренебрежем даром, не совершив благого, как бы оно ни было мало, так это будет от нас плевком в чашу причастную. Все равно как если бы мы вышвырнули хлеб причастный на корм свиньям.

Негр огляделся с улыбкой – встретился глазами с каждым из присутствующих и кивнул, получив негласное одобрение. Горбоносый снял шляпу, задумчиво покрутил ее в руках, глядя на мужчину, и сказал:

– Мне нужна моя вещь. Фотография...

Мужчина недоуменно спросил:

– Двух мальчиков?

– Да, сэр. Двух парнишек как ваш. Это мои мальчишки.

Мужчина, стоя на коленях и непроизвольно поглаживая траву ладонями, напряг задумчивое лицо, будто от усталости ему тяжело было размышлять и связывать друг с другом события. Наконец он обратился к молчаливому старшему сыну, с трудом припоминая и выговаривая незнакомые горбо-

носому слова.

Негр указал пальцем на подростка. Тот, сидевший у костра, наблюдал за ними, слушая пояснения отца к происходящему. Затем, когда на его лице все прояснилось, мальчик подошел к горбоносому, выживая из карманца сложенную пополам фотографию.

– Ваше?

– Мое, да.

Мальчик нерешительно протянул ее маршалу.

– У него нет друзей. Только эти мальчики на фотографии.

И он захотел сохранить ее. Все, кого мы знали, убиты...

Горбоносый опустился на одно колено, на другое положил шляпу, покривлялся, пытаясь улыбнуться и разглядывая фото, а затем сложил его пополам и просунул назад в карманец.

– Оставь, – сказал. – Будь моим парням хорошим другом, сынок.

– Мы еще встретимся, – сказал негр горбоносому вслед.

Уехав от них, он встретился с черноногим, который дожидался его за холмами с грудничком на руках.

– Забрал свою вещь?

– Да. Забрал. Возвращаемся.

Оттуда всадники пересекли высланную скатертями ветров равнину, покрытую покачивающимся высокотравьем, и скоро возвратились к ручью. Их уже ждал кареглазый. Он подскочил с места, где мгновение назад сидел, подперев ладонью пульсирующий лоб, бездумно вырисовывая прутиком

узоры и взвихривая солнечно-серую пыль.

– А где длиннолицый?

Кареглазый скороговоркой ответил: – Холидея посадил на вторую свою лошадь, Миямина этого, и они уехали еще утром!

– Сукин сын!

– Он сказал, мол, один стежок вовремя – и сбережешь весь шов. И ты, мол, на голгофу повернул, когда с черноногим спутался, а там малой кровью откупиться не получится, и поручился за это собственной головой. Обещал открыть стрельбу по нам, если индейца увидит. Но поклялся, мол, не ограбит нас. Сказал, оно не по-христиански. И что если мы доживем, он нас с деньгами будет на том холме дожидаться, откуда мы вместе в путь тронулись. А если не придем, он камни узором среди травы выложит и наши доли спрячет.

– Сучий сын, по коням! – скомандовал горбоносый.

Кареглазый ловко поставил сапог в стремя, взялся за рожок, оттолкнулся другой ногой и уселся в седло.

Глава 7. И нечему больше гореть

Спустя несколько часов они пересекли проветриваемую прерию и вошли в долину, где вдоль реки стояли серебристо-черные тополя, а среди тополей – гудели, пищали, чирикали птицы, кудахтали тетерева и звенели комары. Вилохвостый лунь торопливо перелетал с ветки на ветку, белесо сверкая черными глазами-пуговками. По мере того, как кареглазый, горбоносый и черноногий продвигались в нужном направлении, с противоположного направления ползли удлиненные формации темно-красного сланца, освещенного закатывающимся солнцем и испещренного грандиозными естественными узорами.

Кареглазый замыкал вереницу. Он ощущал себя участником затянувшегося парада в честь сомнительной победы, в сердце жаркой и неприветливой чужой страны, где с изнурительным упорством вынужден исполнять ответственную роль, противную и непонятную ему самому. Он разглядывал овальную и бронзовую, как доллар, физиономию младенца, спеленатого до неподвижности в мешке у индейца.

– Как паренька зовут?

– Альсате.

Кареглазый поравнялся с ним.

– Славный мальчуган.

Черноногий неотрывно наблюдал за птицами, плещущи-

мися среди багрово-черных атоллов облаков в просвечивающей лагуне неба.

– Они рисуют, – сказал индеец.

Ковбой поднял глаза:

– Кто?

– Птицы рисуют горы. И когда они закончат рисовать, на этой земле вырастут высокие горы, какими их задумали птицы. И однажды я буду жить здесь с Быстрой Лодкой.

Кареглазый ничего не ответил.

– Мой отец, Быстрая Лодка, сказал, что мы больше не можем жить в горах, потому что туда пришли белые охотники. Мне нравилось в горах. Я любил там жить. До того, как белый человек пришел, мы с отцом не знали ни голода, ни жажды.

– Что за белый человек?

– Белые охотники. Они ставили ловушки и рыли ямы, и я слышал вой животного, которое попало в такую ловушку. И на моем сердце захлопывался капкан. Тогда я вышел, чтобы вырвать ловушки и засыпать ямы. Но белые охотники узнали о моем запрете. Они вооружились пистолетами и ружьями, и огнем, чтобы найти того, кто запретил им. А это был я и мой запрет. И я хотел сказать им, убирайтесь! Это наш дом!

Кареглазый кивнул:

– Похожее и с моей семьей случилось...

– Быстрая Лодка узнал, что белые охотники ищут меня, чтобы разрушить мой запрет, как они разрушали все своими

топорами и жгли порохом. Быстрая Лодка отправился к белым охотникам, чтобы просить их уйти. Но когда Быстрая Лодка вернулся, то священные одежды его были испачканы в крови белых охотников. Потом мы узнали, что было побито много индейцев, похожих на меня, потому что белые охотники искали Благословенное Дитя.

– Кого?

– Меня.

– Ты ведь вроде Плачущий среди деревьев... Или как там?

– Я стал Вольным Ветром теперь. Раньше я был Плачущим в Жаре Пихт, а до того – Благословенным Дитем.

– У тебя много имен.

– Я прожил много жизней.

– Повезло.

– Нет.

– Почему?

– Каждый раз я умирал. У кого много жизней – у того много и смертей.

Кареглазый пожал плечами:

– Кажется, в этом есть смысл...

– Быстрая Лодка сказал, что мне надо уйти. И его слова огорчили Благословенное Дитя. Я не понимал, куда. Быстрая Лодка сказал мне, что птицы летают высоко в небе, и охотники видят их. Охотники стреляют в них. Потом птицы падают замертво. Он сказал, что теперь мы – как эти птицы. Тогда Благословенное Дитя спросил у Быстрой Лодки, куда

мы пойдём. И Быстрая Лодка сказал, что повсюду, куда ни глянь – мир белого человека. И я огорчился. Быстрая Лодка сказал, чтобы я не желал мира белого человека, не глядел на него глазами и не слушал ушами, иначе мир белого человека придет за мной – и Благословенное Дитя станет рабом, живущим бессмысленно, без понимания и цели. Как белый человек.

Кареглазый фыркнул:

– Да у тебя зуб на белых.

Черноногий спросил:

– Зуб?

– Ты ненавидишь белых.

Индеец задумался.

– Жадность и ненависть, – сказал он. – Страх и смерть.

Они в ваших сердцах. Пустых и немых, как камни. Я слышал смех белого человека. Но это жестокий и мертвый смех. Жадность и ненависть ваши отцы и матери. Они то, что рождает поступки белого человека. Они живут в белом человеке. Но и великий дух живет...

– Ну хоть так, уже неплохо, – усмехнулся ковбой.

– Но дух и пути его сокрыты, как я и отец были сокрыты от мира белых людей. Но дух можно пробудить – уничтожая дом духа и предав огню место его обитания. И тогда дух явит гнев свой миру, и тогда мир начнет рыдать сильнее прежнего. Но напрасно.

Ковбой поежился:

– Почему? Вернее, что это вообще значит?

– Ваш мир получает по заслугам. И я иду, подобно духу, по земле, босяком я ступаю по камням и по песку, и мои шаги пробуждают дух и искры. Как огонь и как дух, я уже не могу возвратиться, ибо земля, оставшаяся позади меня, сожжена дотла. И нечему больше гореть. Мой дом разрушен, и поэтому я иду дальше, как огонь, и мой отец как огонь. Нам некуда возвращаться. И я помню, как стою в жаре пылающих пихт, помню, как они трещат, пожираемые пламенем. Я помню их удушливый запах, и помню их жар, и я плачу о доме. И каждый раз, когда проливаются мои слезы – я знаю, что умер.

– Это... Мне жаль...

Кареглазый утер лицо и вспотевшую шею платком. Потянул лямку сумки, открыл ее и вытащил большую, как барабан, флягу. Протер горлышко и прислонил к сухим губам. Протянул флягу индейцу, тот сделал несколько глотков. Кареглазый заткнул горлышко, сунул флягу обратно в сумку.

– С мальчиком ты как поступишь?

– Он будет внуком Быстрой Лодки, а мне – сыном. Я выращу его и научу, как меня научил Быстрая Лодка, а его – белый хозяин.

Горбоносый повернулся к ним:

– Белый хозяин? У твоего отца?

– Быстрая Лодка рассказал мне, что давным-давно был рабом, но его белый господин – южанин, боролся за отмену

рабства. Во время войны между белыми господина Быстрой Лодки убили южане как он, а Быстрой Лодке отрезали нос, но он сумел отомстить за своего господина и сбежать для войны.

Кареглазый спросил:

– А разве может человек без носа жить? Как дышать тогда?

Горбоносый кашлянул и ответил:

– Знаю я многих, кто и без мозгов живет.

Они продвигались дальше. Взболтанное переливающееся небо оттенка нефти похоже на продукт перегонки, и текущий воздух прозрачнее скипидара. От жары они спрятались в приречном ельнике, где черноногому пришлось застопорить мула, когда заплакал младенец.

Всадники сопроводили лошадей и мула к серпантину реки с темно-зелеными галереями деревьев на противоположном берегу. Пока черноногий подмывал младенца, горбоносый разделся донага, раскидав одежду на траве, а внутрь сапог сунул носки. Он погружался вновь и вновь будто в покрытую лаком реку, ухая от восторга и прохлады, и вокруг его могучей фигуры формировался пенистый водоворот, от которого расходились неправильные круги и колеблющиеся овалы, самые разные деформированные фигуры, обрамленные грязно-желтыми пузырями.

– Коней бы тоже искупать, – сказал горбоносый.

Черноногий, положив искупанного младенца на теплый,

отогретый солнцем валун, принялся за пеленание, но неожиданно его прервал девичий крик. Он поднял глаза и увидел девушку, стоящую как нимфа в солнечной дымке, с глиняным кувшином, похожим на амфору.

Бронзоволицая и черноволосая, в домотканом пропыленном платье. Глаза ее были широко раскрыты. Черноногий ощутил, как небо воспламенилось над его головой, а земля сделалась тоньше бумаги, и он произвел странный жест, вскинув руки, будто бы хотел преподнести в дар девушке свое окровавленное сердце, но странные жесты ужаснули ее.

Она обронила кувшин, расколовшийся о каменистый берег, и крикнула:

– Индейцы! Индейцы! На помощь!

Спустя мгновение на пронзительный крик выбежал дикой наружности мужчина со старым ружьем, одним пальцем поднимающий сползшую подтяжку на плечо.

Он прокричал какую-то угрозу, затем немедленно вскинул оружие и выстрелил в черноногого, прицелившись прямо в сердце. Но хотя порох воспламенился, а дым окрасил воздух, пуля не выстрелила.

– Сукин сын!

Индеец выхватил свой кольт и застрелил мужчину, один раз промахнувшись, а на другой попав ему в голову, так что незадачливый стрелок замертво рухнул в покачнувшуюся воду и, убаюкиваемый течением, постепенно скрылся среди камышей. На истошный вопль девушки примчался голый

по пояс горбоносый, которого она приняла за индейца тоже. Ветер прошумел в шеренгах стройных деревьев. Из леса на другом берегу показались еще несколько небритых физиономий, и противники принялись беспрерывно отстреливаться друг от друга под прерывистые звуки младенческого визга и плача, пока на одном из берегов, заволоченном дымом, не воцарилась мертвенная тишина.

Глава 8. Пусть дети смотрят

До вечера с каждым часом становилось жарче. Под конец дня расщепленное туманными испарениями на разноцветные осколки солнце опять собралось в лучистый сноп, подвешенный в переливающемся воздухе.

Кареглазый поглаживал вспотевшей ладонью мокрую гриву лошади. Его самого до сих пор трясло после перестрелки. Не давали покоя кровососущие насекомые. Испещренные тонкими черными волосками тощие руки кареглазого были измазаны кровью раздавленных комаров. Он прикрыл лицо шейным платком – но результатов это не принесло. Комары искусали его шею и лоб, уши, они лезли под одежду в местах прорех от пуль, вытягивали из него кровь по капле, и каждую потерянную он ощущал, будто бы из него вытащили пулю. Комары прятались в черных курчавых волосах. Шляпа не спасала.

От места перестрелки они были уже далеко, и в какой-то момент кареглазый заметил, что тишина сделалась не иначе, как ветхозаветная. Жужжание комаров прекратилось. В окрашенном темными тонами солнца вечернем полумраке промелькнула комком шерсти луговая собачка, похожая на толстощекого безухого зайца – и скрылась среди астрагала и пожухлого мятлика.

Никто не произносил ни слова, ибо то был им словно за-

вет от неведомого. И кареглазый почувствовал, что любое неосторожное, опрометчиво сказанное слово в этой тишине приравнялось бы к первородному греху.

Невозможно было услышать даже собственное дыхание. Он смотрел на немое, жуткое и какое-то вязкое покачивание высокотравной растительности. Трудно было принять на веру тот факт, что неизмеримые никакими приборами массы неоднородных веществ, будь то миллиарды тонн разгоряченной плазменной субстанции или каких-нибудь энергетических флюидов, струящихся повсюду, минуя и пронизывая тысячелетние сплавы земной коры и материковые плацдармы, будто салфетку, и в сумме с ними вся атмосфера с ее взвешенным многообразием газового вещества и переменчивыми температурами – все это божье творение способно воздерживаться от малейшего звука. Нерушимая тишина.

Лошади смолкли и насторожились, как христианские послушники в древнеримских катакомбах, аккуратно ступая в неестественном оцепенении. Ибо любое движение, совершенное по неосторожности, не оставалось незамеченным в этой непреодолимой сфере, где над всем властвовала некая знаменательная, невероятная, фундаментальная сила, чья высшая активность приходилась на короткие мгновения этого всепроникающего безмолвия, которым, мерещилось, вещал для них сам господь. Все находилось в его монументальном молчании, как скульптура в мраморе, все было беззвучным и недвижимым в своей основе.

Кареглазый ощутил явственную бесплотность и пустоту всего сотворенного, словно их эфемерные лошади ступали по облакам. Горбоносый оглянулся. Зашелестела амуниция. Запели птицы. Что-то позади привлекло внимание маршала.

– У нас гость, – сказал он.

Кареглазый и черноногий оглянулись – сперва один, а затем и второй.

– Это еще кто?

– Одному богу известно.

– Что делать будем, если он не один?

– А что предлагаешь?

– Просто хочу знать, сходятся ли у нас мысли?

Горбоносый фыркнул:

– И близко не сходятся, сынок.

Потом покосился на индейца, который застыл в неподвижности на своем бултыхающемся муле. Они продолжили путь, будто ничего не происходит.

Через минуту-другую к ним примкнул на темно-коричневом рысистом коне юнец лет семнадцати. Кареглазый торопливо прикрыл нос и рот шейным платком, концы которого завязал узлом на затылке.

– Так достаточно близко! – сказал пришедшему горбоносый.

– Не горячитесь, братки, вас трое, а я один! И глупой смерти уж точно не ищу...

Безымянный, неведомо с чем пришедший, расфранчен-

ный. В шляпе с припаянной к застежке на ремешке шести-конечной металлической звездой, в самом центре которой зияло крупное символическое отверстие от попадания девятимиллиметровой пули.

Юнец был темнокож, с озорными улыбающимися глазами, рыхлой желтой бородкой и реденькими усами, светлыми-светлыми, будто их под сломанным носом нарисовала известью детская рука.

Он как-то странно подергивал ногами, будто стараясь обратить внимание на новенькие сапоги, отполированные до блеска, а с плотоядного рта не сходила неприятная ухмылка, в которой он демонстрировал ряды крупных напоздающих друг на друга зубов.

На ремне через плечо у мальчишки висела крупнокалиберная укороченная винтовка, широко распространенная среди охотников на бизонов, а в кобуру на ремне помещен армейский револьвер, изящно заверченный цельной рукояткой из слоновой кости, белой как мел и твердой как дерево, с горельефом золотого орла.

– Ты кто такой? – спросил горбоносый, стопоря лошадь и давая знак остальным.

Незнакомец сперва представил своего коня:

– Это мой конь. Анания.

И приподнял над головой шляпу.

– А меня скаутом зовут.

– Кто зовет?

– Друзья-приятели.

– И где они?

– Повсюду. Я парень компанейский.

– Ну а мы нет, – буркнул кареглазый.

– Недружелюбные вы какие-то.

– А с какой радости кому из нас с тобой христосоваться?

Ты нам ни сват, ни брат. Нечего тебе тут взять! Ни имен, ни отцов, ни матерей, ни денег никаких у нас нет. Ничего у нас нет для тебя.

– Черт... Тебе, браток, видать, мозги напекло, что ты так разгорячился.

Горбоносый сказал:

– Ты со мной говори, не с ними.

– С тобой? – спросил скаут.

– Со мной.

– Ну вот, хоть кто-то мои взгляды разделяет.

– Ты чего к нам привязался?

– Я скаут.

– Да хоть горшком назовись. Это никак не объясняет, чего тебе надо от нас.

– Верно, браток, размышляешь, не объясняет.

– Так вот и объяснись своими словами.

– А что тут объяснять? Я вас издалека заприметил и решил, что надо бы подойти поздороваться.

Скаут поглядел на кареглазого, на горбоносого, который дымил папиросой, на черноногого. Затем на старого и изму-

ченного ртутно-серого мула под ним, с глазами как монеты, который, мотая туда-сюда маятниковой мордой, тяжело дышал.

Брюшная полость животного втягивалась при выдохе и, неистово бурля, надувалась при вдохе. Промеж арок ребер, похожих на языческий алтарь или монгольский шатер, обтянутый шкурой, сочились остатки отработанной влаги, и было отчетливо слышно, как в пустом пространстве того, что называют мулом, бултыхаются полые изношенные внутренние органы. Через истончившуюся кожу мула просвечивал скелет мула, череп странно расходился, словно кто-то открыл болты, на которых все держалось. Кривоzubые челюсти не смыкались, и одинокая пара бесцветных окосевших глаз слезилась.

И вообще все просвечивало от жары, что у лошадей, что у людей, сидящих на них.

– Ну и видок, скажу я, у вашей братии. Черт подери... Вы откуда тут?

– От гнева божия спасаемся, – с хохотком ответил горбоносый.

Скаут криво ухмыльнулся:

– Не иначе как беглецы из Содома и Гоморры возвращаются в землю обетованную. Ну, а если не шутя?

– По следу беглеца идем. А ты сам?

– Ох ты! А у нас, браток, выясняется, судьба общая.

Горбоносый не ответил.

– Верно мыслишь, браток, и я беглеца ищу.

– Имя есть у него?

– Вот это, брат, история интересная.

– Надеюсь, недолгая.

– Ищу уж не первый день. По следу его шел. Может, он один, а может, с напарничками. В общих чертах мне известно, что они собой представляют.

Скаут пожал плечами и отвернулся, будто потерял к ним интерес, полюбовался закатывающимся, как глаза распятого Христа, солнцем над тополями.

– Но вы, братки, на головорезов не очень похожи. Иначе разговор между нами был бы короткий, правильно? Да, вижу, что не ошибся...

Кареглазый сказал:

– Ну, если мы не те, кого тебе надо, то можешь поворачивать оглобли и отчаливать туда, откуда тебя нелегкая принесла. Это я тебе просто и ясно говорю, чтобы ты время сберег. Свое, да и наше.

Скаут поцокал змеиным языком:

– Может, брат, и сберег бы я времечко, да только вот не впору мне с пустыми руками и настрелянными пулями возвращаться. Это, как-никак, мой хлеб с маслом. За преступниками гоняться. Ничему больше не научен. Ничего больше миру от меня не нужно.

Кареглазый спросил:

– Ты, что ли, охотник за наградами?

– Нет, браток, не за наградами. Я просто охотник – на животных и на людей, если необходимо. Жить-то надо, верно я мыслю?

Кареглазый промолчал.

– А вы сами кто? От Уэллс-Фарго? Да не-е... Не того сорта ваш брат будет. А у этого одежды – что твое решето, в прорехах от пуль! – скаут присвистнул и рассмеялся. – Живые, брат, в таких не разгуливают, только покойники.

– А я и есть покойник, воскресший из мертвых. Ни пуля в сердце, ни нож в спину меня не берут.

Горбоносый хохотнул, развернул лошадь и тронул шпорами. Черноногий последовал его примеру, хотя его мул едва дышал и торопиться не собирался. Кареглазый, поразмыслив минуту-другую, направился следом. Они двинулись дальше.

Скаут присоединился к ним. Увидел у индейца за спиной в мешке глазастого младенца.

– Парень или девка? – спросил.

Кареглазый буркнул:

– Отвяжись!

– Да я ведь беседу поддерживаю, браток. Без дурного умысла. И мне показалось, я в вашу братию впишусь как гвоздь в подметку.

– Наверное, тебе солнце в глаза светит.

– Это с чего ты взял, браток?

– Много тебе кажется, чего нет.

Скаут разглядывал индейца, а потом пощелкал языком, грустно улыбаясь:

– Худую участь тебе наш господь уготовал. Последняя собака в стае. О вашем племени, видать, он уже потом вспомнил. Когда свои дары распределил среди прочих. И подумал, что вы разменной монетой удовлетворитесь.

– Отвяжись от мальчишки! – зло проговорил кареглазый. – По-хорошему предупреждаю!

– Не пойму, брат, я тебя оскорбил чем?

– Не лезь в чужие дела!

– А я и не лезу, браток.

Кареглазый сорвал с лица платок и, скомкав в кулаке, заорал как потерпевший:

– Да что ты тянешь как несмазанная телега – браток, браток, мы не братья!

Скаут пожал плечами.

– Не говори со мной и с индейцем не говори! Не смотри в мою сторону. Не смотри в его сторону! Иди своей дорогой, пока у тебя руки-ноги по замыслу божьему стоят, а то я ведь повыдергаю, местами поменяю, будешь на четвереньках бегать.

Скаут ухмыльнулся:

– Это ты, брат, пошутил.

Горбоносый сказал:

– Довольно!

– Воля ваша, сэр.

– Пусть этот хмырь заткнется. И я заткнусь.

Черноногий пронзительным соколиным взглядом глядел на незнакомца из-под царственно-китовых надбровных дуг, высеченных в неприступной скале его лица. Скаут смотрел на него в ответ.

– А этот сувенир у вас откуда? – спросил он. – У индейцев в покер выиграли? Он ваш раб? Слуга? Протиральщик седел?

Горбоносый оглянулся, но промолчал.

– Эй, ты меня понимаешь? Ты откуда будешь? Из какого племени? Он мою речь понимает?

– Понимает, – не оглядываясь, ответил маршал.

– Ты, браток, папаша его или что?

– Мы сами по себе.

– И как это понимать?

– Ты же у нас мыслишь, вот и подумай.

Скаут смерил индейца взглядом.

– Имя у него есть?

– А ты спроси, только он не ответит.

– Немой?

– Ты ему не нравишься.

– По-моему, браток, я тебе не нравлюсь. Хотя не припоминаю, чтобы я тебе насолил. Недругов-то своих я помню на зубок. Вредно их забывать, знаешь ли.

– Откуда бы недругам взяться у компанейского парня как ты?

– Ну так ведь не каждому по нраву моя компания.

– Интересно почему?

– Говорят, я шибко навязчивый.

Некоторое время они молчали. Солнце зашло за горизонт наполовину. Очертания окружающего их густого подлеска черными мокрыми пятнами выделялись на золотом фоне. Ландшафт трансформировался постепенно, сопротивляясь жаркому чужеродному климату. Слышался шелковистый шум ручья.

Навстречу всадникам, как воинство, маршировали по обе стороны старой тропы хвойные деревья в своих роскошных зеленовато-синих мундирах, чьи малахитовые тени отражались на поверхности засыпанной иголками реки. Деревья расступались и опять смыкались за ними, чем дальше они углублялись в лес. Ветер, пропитанный мягким ароматом, слегка пьянил.

Скаут поравнялся с горбоносим.

– С кого трофей снял? – спросил маршал.

– Какой трофей?

– Звезду шерифа.

– А, ты про это...

Скаут снял шляпу и принялся разглядывать аксессуар, любясь его формой, смыслом и оттенками, которые он заимствовал и сосредотачивал, отражая и преобразуя свет уходящего солнца.

– Это не трофей, браток. Мой папаша... Он шерифом

был. Хотя и недолго. За воротник он заливать начал после смерти матери, что в твое корыто. До чертиков упился и словил пулю прямо в сердце.

Горбоносый безразлично промолчал.

– Такая вот история. Но он сам напрашивался с тех пор, как мать, царствие ей небесное, на тот свет отправилась. Он только и ждал какого-нибудь придурка с револьвером – лишь бы за схватиться с ним. Раньше такого не делал.

– А ты, значит, по стопам отца?

– В каком это смысле, браток?

– Служишь закону.

Скаут надел шляпу и пожал плечами.

– Бог знает, кому я служу. Я ведь не официально. Но стараюсь находиться внутри закона.

– Интересная формулировка.

Скаут кивнул:

– Как скажешь, браток.

Горбоносый выставил перед собой руки, словно хотел продемонстрировать приблизительные размеры чего-то.

– Ты знаешь, что овец держат в загонах, верно?

– Ну, браток, знаю. Все знают.

– Но на время кормежки их сопровождают на подготовленные пастбища.

– Ага. Ты это к чему?

– К тому, что там травка позеленее.

– Не пойму я что-то, при чем тут овцы?

Горбоносый отмахнулся:

– Просто забудь.

– А у тебя, браток, семейство есть?

– Они далеко – а я тут торчу.

– Как сапог в болоте?

– С этим не поспоришь.

– А жена у тебя есть, чтобы койку по ночам греть?

– Умерла.

Скаут задумчиво поглядел на парящих птиц.

– Жаль это слышать, а что ее в могилу свело?

– А не рановато ли ты мне в душу лезешь, дьявол пронырливый? Мы с тобой, если мне память верна, кровь и плоть Христову на пасху не праздновали, да и детишкам моим ты не крестный отец.

Скаут кивнул:

– Что верно, брат, с тем спору нет. И все-таки, ты этот разговор начал.

Горбоносый придержал шляпу, наклонился и сплюнул.

– Умерла в годы эпидемии оспы.

– Паршивого кота тебе в мешок судьба подсунула.

– С этим не поспоришь, – маршал окинул его равнодушным взглядом.

Скаут помолчал, а потом настороженно оглянулся:

– Слушай, браток, тут неподалеку поселение есть при торговом посту.

– Ну есть, и черт с ним.

– Нет, ты не понял...

– Чего не понял?

– Мне бы пошептаться с тобой с глазу на глаз.

Горбоносый оглянулся:

– А они нас не слышат. Даже если слышать, плевать.

– Ну а мне нет.

– Что на уме у тебя?

– На уме у меня, брат, Красный Томагавк. Слышал о нем?

– Кое-что слышал.

– Догадываюсь, о каком «кое-что» ты говоришь.

Скаут покосился на черноногого, затем повернулся опять к горбоносому.

– Ты, видать, браток, сам не знаешь, что за паскудная история за этим именем стоит. Правильно я мыслю?

– Не мое это дело.

– А вот мне думается, что твое. Ты о банде Бродяг из Колорадо слышал?

– Не случалось.

– Ну вот у местных, брат, история сродная. Только с кровавым исходом. Признаюсь тебе, что у меня с предыдущими компадрес не заладилось. А было их четверо. Отъявленные мерзавцы, душегубы и безбожники, скажу тебе без преувеличения!

– И тебе, конечно, таковое общество претит.

– Само собой! Так вот... Несколько дней я держался с ними, наблюдал, как они местную голытьбу обирают. Хотя те

добровольно платили им кто чем, кто серебром, а кто и золотом, а кто и глиняными горшками готов был платить, лишь бы им в доказательство отпущения голову Красного Томагавка принесли.

– Кто этот Красный Томагавк?

– Ты не торопи события, браток, слушай дальше. На первых порах народ вроде бы лелеял надежду на благополучный исход дела, но все закрутилось, что твоя мельница – не остановишь. Поначалу, еще до Красного Томагавка, в окрестностях объявилась шайка дезертиров и самозванцев. Возглавлял их некий сержант по кличке Картечь, при полном параде. Люди его, видать, чтобы проще было сколотить свою личную армию, выдавали себя за солдат сорок девятого кавалерийского полка и рекрутировали в свои ряды разноплеменной сброд. А ведь сперва их было всего-навсего шестеро.

Скаут кашлянул и сплюнул:

– Чертова мошकारа! Так вот. На протяжении нескольких месяцев Картечь и его банда из народа душу выматывали, воровством промышляли, да и насилием, браток, не брезговали. И примыкало к ним много обозленного народу. Каждый хотел утолять свои страсти, да и просто пожрать тоже, видать, неплохо бы. Среди них и сироты были, дикие и голодные, и попрошайки, и чернокожие, и краснокожие, и бронзовокожие, альбиносы, мексиканцы и белые, и проститутки, калеки и религиозные фанатики, и обанкротившиеся жертвы махинаторов, целые семьи цветных по дюжине голов

в каждой. Все, кто по каким-то причинам остался бездомным, голодным и злым, и теперь хотел давить, безумствовать, мстить, убивать, расчленять, жечь и расплачиваться с миром за свои обиды. Короче говоря, очень скоро местные и глазом моргнуть не успели, а число их перевалило за сотню голов, что твое стадо взбесившихся бизонов.

Горбоносый хмыкнул.

– Вот именно! Они до того расхрабрились, – продолжал скаут, – что перли по захолустным деревушкам, грабили, жгли дома и гостиницы, насильовали и убивали все, что движется, браток. Не жалели ни женщин, ни детей. Уж не знаю, что за безумие руководило поступками этого отродья и, откровенно говоря, знать не хочу, будто это были реконструкции крестовых походов тысячетней давности. Я сам был в числе добровольцев с федеральными маршалами и полицейскими, всего около ста двадцати человек нас было. Маленькая армия на маленькую армию. И вот всем гуртом гнали мы их три дня по лесам да по полям, но потеряли след и остановились на дилижансовой станции. Я заночевал в котедже, а на утро оператор телеграфа сообщил нам, мол, горят пастбища по ту сторону реки. Это они так след свой заметали, недоумки. Три обгоревших трупа нашли потом. Все ребятня.

Горбоносый причмокнул:

– Худое дело.

– Не то слово, браток! Но ты потерпи креститься. Когда

мы эту сумасшедшую ватагу настигли и загнали в глушь, то стали выжидать. У них быстро кончилось, чем себя кормить. Мы травили их все дальше, пока они не оказались среди голых скал, и мы им предлагали сдаться по-хорошему, подумав о детях, о женщинах. Но в итоге, браток, девятнадцать человек, что на нас поперли с оружием, с холодным, с горячим, мы их перестреляли одного за другим. Как в тире ярмарочные мишени. Остальные сами сдались – кто по доброй воле, кто по злой, кого пришлось уговорами образумить, кто с детьми, кто с младенцами на руках, больными, грязными и плачущими, если повезет. Но большинство мертвые. Мы, не рассуждая долго, прямо на месте казнили их предводителей и сержанта Картечь. Но позже я узнал, что некоторые, пользуясь, по-видимому, всей суматохой, сумели скрыться, а среди них – и Красный Томагавк, тогда еще безымянный и всем безразличный индеец, а с ним и другие подростки. Все как один красные, что твои головешки. Они возвратились туда, где все заварилось, а оттуда принялись ходить по фермам и поселениям, атаковали ночью, по-умному, жгли дома, а в сумятице побивали белых, мужчин и женщин, как каких-нибудь фелистимлян. Били всем, что под руку ляжет. На куски рубили тела мужчин и отправлялись дальше, для устрашения швыряли в окна отрубленные головы, ноги и руки.

Горбоносый театрально покачал головой:

– Господи Иисусе.

– Ты погоди, браток, сладкое я приберег напоследок.

Ставки на голову Красного Томагавка и его парней росли час от часу, что за твоим покерным столом – и каждый участник марафона собственноручно стремился Красного рубахой кверху в землю положить, а сверху шестью футами фишек привалить. То есть, земли. Искал его среди прочих и я. Края здесь дикие, незаконные, безвластные, что твой ад – и люди тут очень скоро забывают о человечности...

– Ближе к делу, – проворчал горбоносый.

– Да-да, ладно. В общем, нагрянул я в одну деревеньку по пути. Не ожидал чего-нибудь эдакого, а оно получилось наоборот. Ни живой души там, тишина и покой, а вокруг только трупы белых, мужчин да женщин, валяющихся в пыли, кого на куски порубили, кому посчастливилось быть застреленными, да и трупы малолетних индейцев, некоторые не старше десяти лет, валялись там же, в пыли, и сожженные дома. И вонь – что в преисподней! И те четверо, ублюдки... В шляпах, плащах и с бандольерами поперек груди, как стервятники, перемещались в полутьме, издавая жуткие нечеловеческие звуки, браток. И ножи их перепиливали шеи краснокожих. Они тянули их за волосы и отделяли головы от тел и набивали ими, десятками голов, что твоими кочанами капусты, кровоточащие мешки. Затем они сели по своим коням и направлялись по свидетелям да очевидцам, кто могли Красного Томагавка узнать, и я примкнул к ним.

– А что ж ты сразу деру не дал, благородный рыцарь?

– Ну а что? Я немало повидал тех, кто трупы кромсает.

Меня таким не сильно впечатлишь. К тому же, я ведь на тот момент не знал, что трупы в деревне – это дело не перебитых индейцев, а той четверки. Ни имен своих они сперва не назвали, да и никто словом не обмолвился. Сказали только, что они от местного комитета бдительности. Кого поймают – на ветке вздергивают без суда и следствия, а то и хуже. Но где, впрочем, нам, браток, судиться? В нестроенном суде? Надеяться на милость законников, которым некому платить? Один со мной потом заговорил, проявил милость. Назвался Хардорффом, сказал, мол, он иезуит и проповедник...

– Неплоха проповедь.

– Ну вот он показывал и рассказывал мне, что к чему здесь, и когда мы входили в поселения и форты – глухие и безбожные, где люди даже не похожи на людей, нас тамошняя деревенщина и солдатня встречала как Иисуса Христа с апостолами при входе в Иерусалим! Будто мы проповедовали для них священное евангелие. Под копыта коней нам стлали веточки ольхи и одежки, мундиры, рубахи, кто что, которые местная публика в жаре почитания с себя срывала! А эти головорезы улыбались им и кланялись, и тащили за волосы из мешков отрубленные головы краснокожих, и размахивали ими как кадельницами какими-то, черт-те-что! А ты еще представь такую картину: в одном городке по их пришествию даже зазвонили чертовы колокола и закатили празднование! Они вывалили из мешков головы индейцев на паперти у церкви, а потом, браток, там же, принялись скаль-

пировать их и, зажав в губах гвозди и размахивая молотками, приколачивали почерневшие от крови скальпы с ушами – и эта белая деревенщина разглядывала их с любопытством, что твою икону богоматери! Народ подступался к ним, кто сам по себе, кто приводил детей, приносил на руках, а малолетняя ребятня отворачивалась и плакала. Одному богу известно, что им на ум приходило. Что за безобразные существа им в лоскутах этой кожи мерещились? И тогда уж мамыши в смятении уносили их домой, а тамошний ктитор предостерегал народ прикасаться к скальпам, словно к мощам святого, и предрекал пастве скорое небытие язычества.

– Старая песня.

– В общем, после этого зрелища уснуть я уже не мог спокойно. Пять-шесть дней назад или около того я разминулся с ними, браток, когда понял, что эти четверо – краснокожих без разбору бьют, да и Красного Томагавка никто до сих пор не видел, скольких я не опросил, каждый его по-своему описывал. Да и был ли он? Вот где вопрос. Может, Красного уже давным-давно прихлопнули, но никто не хочет с кровно нажитыми деньгами расставаться. Вот и отнекиваются, как от греха.

Скаут сплюнул:

– Но искать Красного Томагавка не прекращают, браток, и теперь уже сам господь бог не разберет в этом кавардаке, кто прав, а кто виноват. Краснокожих режут, что безвинных, что виновных, как твою скотину на мясоперерабатывающей

фабрике.

Горбоносый задумался:

– Худое дельце, верно поешь.

– Худее некуда. Я уже не знаю, как все это остановить.

Найти бы настоящего Томагавка... Если он жив.

Горбоносый оглядел скаута с головы до пят.

– И если существует.

Они услышали гром вдалеке, где концентрировалось черное вещество неба.

В спину дул порывистый ветер. С кареглазого сорвало шляпу, он чертыхнулся, спрыгнул с лошади и отправился за ней пешком. Поднял ее, отряхнул о штанину и посадил на макушку, оглядывая мирную окружающую тишину, воплотившуюся физически в странных замерших объектах.

В чернильно-золотом мокром сумраке возвышались деревья, с кронами, похожими на палитру, где перемешались багрово-красные оттенки, сходные с далекими оттенками стремительно гаснущего неба.

Горбоносый с равнодушным видом курил, направляя свою лошадь сквозь приземистую, покрытую паутиной растительность. Тропа начинала зарубцовываться диким кустарником, не оставляя простора. Отпечатки копыт напоминали очертаниями листья острой актинидии, с многочисленными трещинами и сетью жилок в продавленной комковатой земле.

Всадники растянулись цепью, мелькая в просветах между

деревьями. Скаут на своем коне ехал впереди, когда из-за чередующихся стволов беззвучно вышел медведь.

Громадная красно-бурая переливающаяся всевозможными оттенками, словно алмаз, чудовищная фантасмагория, которая невероятным образом, как из воздуха, составила из никак не сочетающихся между собой на первый взгляд объектов прямо у него перед глазами. Грандиозных, едва ли не китовых величин, это была косолапая и золотокудрая туша с подчеркнутой полнотой и непропорционально маленькой, как бы коротко остриженной и казавшейся безглазой головой с безволосой тупой мордой-кувалдой и ушами, неотличимыми от человеческих, только мохнатыми.

– Мать твою! Медведь!

Недоуменно поглазев на странников, эта зверюга ощерила короткую пенящуюся пасть, полную зубов размером с костяшку большого пальца, среди которых плескался ярко-розовый шершавый язык, похожий на чудную рыбину.

– Медведь!

Скаут рванул на себя поводья и сдавленно прикрикнул – и это чудище, как древнеримский легионер багровеющее в жутком предзакатном полумраке и окутанное странной расплывчатой дымкой, завидев коня и страх в глазах человека, надсадно взревело и поднялось трехметровым сооружением, воздев когтистые лапы, будто для игры на фортепиано.

Конь скаута, Анания, вклинился копытами в землю, а потом встал на дыбы, пронзительно визжа от хохота, как ес-

ли бы то был цирковой медведь, демонстрирующий ему для развлечения невероятно уморительный номер. Скаут удержался в седле. Медведь все ревел и угрожающе восставал над кустарником, над вибрирующей землей, отбрасывая вглубь леса черную тень.

Всадник пытался утихомирить коня, но безуспешно – тот прыгал, отталкиваясь передними ногами, словно очень развеселился или ополоумел, и пытался аплодировать потешному медведю, да не было чем, а медведь тем временем уже опустился на четыре лапы, прерывая свой рев, но вновь возобновляя и, ловко переставляя лапы, бросился к всаднику с единственной целью – разорвать на части и его, и его коня.

– Прыгай с лошади, идиот! Уйди!

Раздался выстрел. Пороховой дым сделал видимыми складки воздуха.

Горбоносый выстрелил в воздух, но медведя это не спугнуло.

Кто-то завопил.

Черноногий, как сумасшедший, бегом, с ребенком за спиной, раскинув руки над головой, выскочил из царапающихся кустов и рванул к медведю, так что со стороны наблюдающим показалось, он признал в нем старого приятеля и намеревался заключить его в горячие объятия.

Всем своим существом черноногий издал столь воинственный и иступленный вопль, что медведь застыл до последнего волоска на шкуре, как парализованный. Индеец

подскочил к медведю достаточно близко, размахивая руками, и откуда-то из глубины его резонирующего человеческого желудка происходило несмолкаемое и страшное животное клочотание, так что ошарашенный медведь, очень скоро выйдя из глухого оцепенения, поспешил скрыться в потемках.

Вопль дикаря оборвался.

Весь мир заполнила звенящая запоздалыми выстрелами тишина, которая стремилась обрести все новую и новую форму покоя всякий раз, когда в нее врывались посторонние нездешние звуки. В тишине то смолкали, то опять пробуждались голоса напуганных животных и птиц, сообщающихся между собой; и только младенец с удивленными глазами спокойно молчал, пока скаут опустошал вслед убегающему медведю каждую из камор своего револьвера.

Горбоносый торопливо подъехал к нему на лошади и, когда задымленный курок стал вхолостую клацать, взводясь и опускаясь, он схватился за ствол и потянул руку с оружием вниз.

– Из ума выжил, парень?!

– Вы почему не стреляли? Струсили, что ли!? Надо было убить эту тварь! Свинцом ее накормить! В морду и в пасть стрелять!

– Утихомирься, вояка! Ты мне очумелой стрельбой своей мальчика пугаешь, а если он слезы лить начнет, то я чертовски рассержусь.

Скаут проглотил свою злость:

– Ладно, понял... Понял. Черт...

– Умница.

Всадники выехали на равнину, где переждали ночь, настрожившись и вслушиваясь в перебивающиеся приглушенные хлопки, похожие на звуки перестрелки в отдалении. Небо словно высеченное из куска скалы оттенка ляпис-лазури с месторождениями самородных кристаллов звезд. На ночь они разбили лагерь, а с рассветом продолжили путь.

Глава 9. Колода тузов

Утро встретило их солнцем из чистого никеля и сизыми чайками, которые ножницами кромсали небо. Вдалеке выривались влажно-зеленые, поросшие лесом скалы, окутанные исконным африканским жаром, искажавшим сам воздух.

Утомленных всадников окружал небывалый по своему размаху выметенный ветром простор. От жары они задыхались. Горбоносый, неуклюже державшийся в седле, вспотел как роженица. Его грузный силуэт напоминал пятно дыхания на остывшем и отпарафиненном до блеска стекле.

Скаут, пытавшийся восстановиться после пережитого, проделывал различные цирковые трюки со своим револьвером, то подбрасывая его, то раскручивая на пальце, и одновременно пространно рассказывал о причинах нелюбви к медведям; а если глаз его успевал заметить, как из равнинной травы, будто из бесконечной бизоньей шкуры, покрывшей весь шар земной, пулями вылетают маленькие птички, позвякивая крылышками и заливисто попискивая, то он пытался подстрелить их.

Выстрел.

Дым.

– А, подлянка!

Выстрел.

– Быстрые маленькие мерзавки!

На девятый раз у него получилось.

Птица бросилась лететь по дуге, а пуля подловила ее, и тушка раскрутилась, исчезнув в покачивающейся зелени.

– Видали! Попал!

Кареглазый нацелил свой винчестер и прокричал:

– Убери пистолет, не зли меня! А то дыр в тебе понаделаю!

– А сердце у тебя, брат, не екнет, если меня зазря в землю положишь?

– Вот и узнаем! Убирай, говорю! Ну, живо!

Скаут пожал плечами и убрал оружие:

– Усвоил, ковбой, не стервись.

Горбоносый застопорил лошадь и оглянулся.

Черноногий поглаживал вспотевшего мула и глядел на них. Кареглазый отвернулся. Скаут на минуту замолчал, потом опять заговорил.

– Кстати, я не рассказывал? Мой отец шерифом служил, пусть и недолго...

– Начинается! – буркнул ковбой.

– Обещаю, это поучительная история, тебе понравится.

Скаут прокашлялся.

– Так вот. Помню я, заявился к нам в городок по осени неприятный тип...

– Что-то мне это напоминает.

– И хотя был он мужик статный, херувим и чистоплюй, в галстук, в пиджаке и в модной шляпе, англичанин какой-то,

но никому не приглянулся. Было в нем нечто отталкивающее, зловещее. Нечеловеческое спокойствие и голос тихий, почти шепчущий. Я не ошибся. Он быстро нашел на свою голову неприятностей. Зашел этот фронт выпить в салун, но манеры его и то, как он держался высокомерно, никому не понравились, а особенно выпивохе одному. Так что принялся он незнакомца костерить на чем свет стоял, страшными словами его оскорблял. Обстановка так быстро накалилась, что я рванул к отцу. К шерифу. Я к нему прибежал и застал за разговором с помощником, и описал, что вот-вот двое стреляться будут, и что шерифу, моему отцу, то бишь, полагается по должности и по совести вмешаться...

Скаут выдержал драматическую паузу.

– Но папаша мой придержал своего помощника, который уже схватился за ружье, и ответил мне, мол, пусть они выясняют отношения, а когда один другого застрелит, тогда и поглядим. Сказал, что если между ними встанет, они и его самого на тот свет отправят, а меня и мать мою он одних не хотел оставлять.

– Разумно, – сказал горбоносый.

– Я сперва подумал, что отец, должно быть, шутит надо мной. Что сейчас он поднимется и рассмеется, ведь это, как-никак, его долг, его хлеб! Преступников ловить... Но он все медлил, пока мы с помощником его не уговорили. Он неохотно шляпу свою надел, а полагался только на ружье помощника своего, сам он плохим стрелком был и без оружия

ходил, пока мать не умерла. Отправились мы в салун, а на полпути услышали, как гроыхнули один за другим два выстрела. И когда мы вошли, то увидели, что незнакомец застрелил выпивоху и сидел себе, спокойно так, знаете, расслабленно, а выпивоха лежал, застреленный, с дыркой от пули прямо под левым глазом. Стрелок глядел на нас, на шерифа, меня и помощника...

– В этой истории какая-то мораль есть? – спросил ковбой.

– Ты слушай дальше, браток. Так вот. Глядит он на нас мертвыми глазами. И мой отец нерешительно и вяло промямлил слова какие-то, у меня даже в памяти не сохранилось, что он пытался выговорить. Зато я хорошо помню простой и ясный ответ незнакомца, который откинул голову и глянул на нас насмешливо и презрительно, словно мы в покер играем, а в рукаве у него – целая колода тузов. Он усмехался глазами, а затем проговорил очень тихо, но каждое слово я слышал отчетливо, мол, если вы шериф, то прикажите мне – и я уйду. С моей стороны это была самозащита, так и сказал, мол, бог и народ тому очевидцы, и вины за мной не найдется, хоть бы и обыщите.

Кареглазый вздохнул, явно начиная уставать.

– Тогда мой отец сказал, возьми пистолет свой и убирайся, но чужак улыбнулся и не послушался, а только ответил ему, мол, а вот я не чувствую, что у вас есть власть надо мной. Он просто сидел и усмехался всем существом своим, но без усмешки на губах. И сказал, мол, каждая собака на

власть претендует. От мала до велика, но ни у кого власти нет над другим. И этот факт злит человека, который достаточно глуп, чтобы помыслить, будто власть его подлинная. Вот как у вас, шериф, говорит он моему папаше. Но у вас никакой власти нет, ибо будь вы властны надо мной, я бы не сумел оспорить вашу власть. Само мое тело повиновалось бы вашей неоспоримой воле и слову. И я вынужден был бы уйти, но вы знаете, что ваша должность и ваши полномочия – не наделили вас властью, поэтому вы напуганы и беспомощны, бессильны и трусливы, а вся ваша власть – только обман. И я не уйду, пока сам не решу. Пока не допью кружку этого замечательного пива. Так вот он и сказал, слово в слово.

– И в чем тут смысл? – спросил ковбой.

– А смысл, браток, в том, что когда ты мне велишь заткнуться и убрать оружие, я это делаю по своей воле, а не по твоей указке. Будь на моем месте кто другой, ты бы уже с пуль в башке лежал.

Ковбой промолчал. Через несколько минут скаут, поехавший вперед остальных, неожиданно крикнул:

–Эй, братки! Сюда!

Горбоносый и кареглазый поравнялись с ним. Первый прыгнул с лошади и привстал на одно колено, всматриваясь в пасущуюся неподалеку лошадь с окровавленным седлом, которое казалось черным среди радужной белизны окружающего пейзажа.

– Вижу труп, – сказал горбоносый. Кареглазый оглядывал

равнодушную к ним и наполовину опустыненную прерию, когда заметил среди колышущихся волн позолоченной травы какое-то движение.

– Вижу кого-то!

Он немедленно вскинул винтовку и прищурился.

– А, чертовы птицы...

То были четыре грифа и один-единственный вороненок, который уже распутывал жизнетворные нити покойницкой печени. Причем грифы с лысыми белыми старческими головами и тощими шеями, кожа да кости, как кающиеся анахореты или ангелы пустыни, с черными сложенными за спиной крылами, похожими на четырехугольные плетцы, надетые на их бесформенные монашеские плечи, расселись послушно по ногам и рукам мертвеца. Будто живые кандалы, которые приковали бедолагу к сухой земле. Они просто наблюдали, как маленький вороненок-послушник стучит клювом по кровавой лужице, прыгая время от времени туда и сюда, склонив голову и нерешительно поглядывая на своих безропотных духовных наставников смерти в ожидании мистического знака одобрения от них.

– Пошли! Кыш!

Горбоносый приблизился и махнул на них рукой, но, видя, что это не приносит результатов, вытащил револьвер и выстрелил в воздух, так что темным фигурам, чью макабрическую трапезу, чей ритуал посвящения он прервал, пришлось лениво взмыть ввысь. Скаут сплюнул и сказал:

– Скверные пташки. Не питаю я к ним теплых чувств.

Кареглазый спросил издалека:

– Кто это?

– Просто покойник... Мужик какой-то.

Горбоносый неспешно подступил к телу, разжал пальцы трупа и забрал пистолет.

В ту же секунду они повернули головы, услышав короткий хлопок, и искаженный жарой воздух над верхушкой подрагивающего холма вдалеке окрасился поволокой порохового дыма, а в нескольких ярдах от горбоносого взвился багрово-коричневый султанчик пыли.

Кареглазый недоуменно спросил:

– В нас стреляли?

Горбоносый крикнул:

– Врассыпную, не стойте столбами!

Стрелок, скрипя зубами и утирая со лба пот, уперся локтями в землю и прицелился для следующего выстрела, дожидаясь момента.

– Ах вы чертовы ублюдки! – прокричал он глухо. – Убью, но живым не дамся!

Когда дым рассеялся, и стрелок увидел замыленными глазами равнину, он выбрал мишень и выстрелил, но промахнулся.

– Убью! Слышали меня! Я вас всех убью!

Он заметил, как одна из фигур впрыгнула на лошадь и галопом поскакала через пустынную залитую потоками лучи-

стой энергии прерию.

Стрелок прицелился и выстрелил.

– Сучий сын!

От дыма жгло глаза.

Всадник в трепещущем капоте с капюшоном, издающем хлопающие звуки, с темными и блестящими, будто лакированными волосами, диким вихрем неся по равнине.

– Ублюдок... Я тебя убью!

Стрелок прицелился в него и выстрелил, но в очередной раз промахнулся, а пальцы его будто одеревенели от бессилия. На глаза лился пот, а сумасшедший вопль всадника становился все громче и терялся в бешеном стуке копыт, перебирающих землю. Лошадь, владея в своей природной стихии, часто дыша, на исступленном ходу обогнула равнину и вприпрыжку взлетела на покрытые кустарником холмы.

Стрелок попытался подняться, но не смог.

Пылающим в солнечном свете шлейфом тянулось вслед за лошадью пылевое облако. Призрачными фигурами, словно фигурами умерших в этом краю людей и теперь пробудившихся, облако пыли поднималось из-под грохочущих копыт и медленно опускалось массивными разукрашенными каскадами. Пыль застывала на мгновение над вибрирующей землей, складываясь в мерцающие водовороты, и в формах ее, как духи, воспрянувшие на радуницу, сходились для последнего поминального раута странники и дальние родственники, ибо знали, что следующей встречи может не слу-

читься. Громадные выдыхающие отработанный пар лошадиные ноздри надувались и сжимались кузнечными мехами, и вздыбленная царственная фигура, возвышающаяся над стрелком во весь рост, мерещилась темной как ночь.

Черноногий направил пистолет на стрелка, будто великий каппадокиец, что пронзил змея. Он оглядел его живым жестким взглядом.

Мужчина издал гортанный, преисполненный отчаяния и ненависти крик, оставил винтовку и тяжело перекатился на спину, заслоня неживыми руками перепачканные кровью одежды.

– Ну убей! Стреляй, сучий сын! – задыхающейся скороговоркой произнес он. – Убей! Я свою пулю с открытым сердцем приму!

Он откинул голову, тяжело дыша и глядя на переливающуюся и раскаленную, неприкосновенную поверхность тверди небесной, где выплавлялись облака.

Глава 10. Я убью их голыми руками

Спустя некоторое время всадники двигались вдоль сернисто-белой реки. В прибрежном лесу на противоположном берегу, где перемешались тополя и дубы, среди плоских теней бродили коричнево-черные самцы лосей весом в полтонны, хрустя валежником. словно верующие, что несут хоругвь во имя господа бога, рогатые звери робко подступали к кромке пурпурно-желтой воды и наклоняли морду, чтобы напиться. Они издавали короткие натужные вопли, испугавшись кромсающих и гудящих звуков буксирного парохода.

Тот против течения тащил по расступающейся пенисто-грязной воде баржу, нагруженную ящиками под сухие фрукты, мешками овощей и тюками одежды. Пароход едва ли можно было разглядеть в полумраке. Он тяжеломерно парил над искромсанной рекой, и очертания его менялись в зависимости от того, что служило ему фоном – сперва полоса деревьев, а затем блеск отдаленных скал, будто оклеенных фольгой, и блеклый лунный свет то проявлял утраченные контуры, то вновь стирал их; и то, что гудело и кромсало воду, шло громадным чудищем, пылая десятком огней в застекленных окнах. На плоскости качающейся реки воссоздавались темно-синие очертания прибрежного леса, стоящего глухой стеной. По всей длине баржи, стоя и сидя, расположились таинственные человеческие существа, как ка-

кие-то сложные известняковые изваяния с большими белесыми бельмами тусклых глаз.

Те, что сидели, свесив босые ступни и закатив штанины выше колен, глядели в воду. Всадники, щурясь, видели этих полуночных рыбаков и моряков, как застывшие зарницы, с головы до пят светящиеся, словно помазанные фосфористым миром, будто сама река приняла их как сыновей и растворила в своем светло-зеленом сиянии.

Скаут и кареглазый оглядывались, поторапливая отстающих.

– Вы ежайте вперед! – крикнул им горбоносый.

Черноногий, ехавший рядом с ним, ждал, когда маршал продолжит прерванный разговор.

– Тебя опасные люди разыскивают.

– Я знаю.

– Уже встречал их?

– Нет. Те, кого я встречал – мертвы.

Горбоносый усмехнулся:

– Придут новые.

– И они будут мертвы.

– Деньги нельзя убить.

Черноногий посмотрел ему в глаза:

– Твои речи трудные. Мои дела простые.

– У тебя ведь есть отец?

– Быстрая Лодка.

– У других людей тоже есть отцы, – сказал маршал. – На-

ши отцы в этом мире деньги. Вот что я тебе скажу. Не только ненависть и страх, не только боль наши отцы. Но и деньги. А они – нечто иное. От них не отступаются. Деньги в нашем мире – это еда, это воздух, это жизнь. Это огонь и вода. Это крыша над головой, это постель, это семья и даже, черт возьми, сон. Это власть. Это небо и земля. Вот их природа.

Черноногий молча слушал.

– Понимаешь? Поэтому я и говорю. Деньги нельзя убить. Ты можешь убить людей, но то, что ты пытаешься убить, оно не внутри людей.

Черноногий не ответил.

– Знать не желаю, где этому злу место. Может, если повезет, не узнаю. Но оно не в людях и не в вещах. Это зло – оно себя не показывает, поэтому оно неуязвимо. Как то, что делает камень камнем, а сердце человека – тьмой. Пойдешь против этой силы, от тебя мокрого места не останется. Убить ее нельзя.

Черноногий задумался:

– Твои речи трудные, но я вижу в них правду. Отец учил меня совершать поступки. Я и знал, что верно, а что – нет. В мире, который есть подлинный, все просто и ясно. Но мир, сотворенный белым человеком, не может существовать. Одни люди сотворяют запреты, но сами не соблюдают их. Это видно. Ваш мир – ненастоящий. Быстрая Лодка рассказывал мне, что ваш мир придуманный и написанный белыми людьми для людей с темной кожей. Ваш мир делает из сво-

бодных – рабов, а из сильных – он делает слабых. Но в настоящем мире все случается наоборот.

– Что есть, то есть, – пожал плечами горбоносый. – Но теперь на твоей совести маленький ребенок. И нельзя продолжать жить, как ты жил прежде.

Черноногий долго глядел на него:

– Я не понимаю денег, – сказал он.

– Их никто не понимает, но все им служат. Никто не понимает воздух, но все им дышат.

– А ты?

– Я? Что я?

– Ты служишь деньгам?

Горбоносый пожал плечами.

– А люди, которые ищут меня?

– Они служат.

– Это делает их опасными.

– Да.

– А ты опасен?

Они переглянулись.

– Нет, я не опасен. Ну, изредка, если проголодаюсь. А так я только живу. Еда и сон. Мне от этого мира ровным счетом ничего не нужно. Только корку хлеба, да койку. Из меня мог бы получиться неплохой индеец. Ничуть не хуже, чем из тебя.

Черноногий не ответил.

– А что? Я гляжу в небо, иду по земле и дышу воздухом. И

вот мои дела, по пальцам пересчитать и перечислить. Все это не мое и не для меня. У меня в этом твердая убежденность. Но, к несчастью, не все, как горбоносый маршал. Иным хочется больше – но они не знают, чего именно им хочется и сколько им его нужно. Потому пожирают без остатка все, что попадется им на глаза. И теперь они хотят сожрать и тебя, и твоего мальчика сожрут. Потому как не найдется во всем мире власть, которая запретила бы им пытаться найти и убить тебя. Понимаешь? Это охота для людей, а охотятся они за деньгами. Деньги это та добыча, от которой не отказываются.

Черноногий сказал:

– Будь здесь Быстрая Лодка, он убил бы охотников, которые охотятся за мной. Но Быстрой Лодки нет, и я не знаю, где он. И я должен быть для моего сына как Быстрая Лодка был для меня. Я должен буду защищать его. Им у меня на пути лучше не стоять, я их голыми руками убью.

– Сильно сомневаюсь.

Они вошли в небольшое поселение, которое скаут представил им, направляясь по улице вдоль одноэтажных кирпичных домов с тусклыми зашторенными квадратиками окон. У обветшалой зеленовато-белой стены гостевого дома, под длинным настилом, подпертым двухметровыми жердями, вразнобой громоздилось пыльное имущество: коричневые глиняные корчаги, вазы, похожие на митры, всевозможная антикварная утварь, перуанская керамика с треугольными циклическими узорами, сувенирные кувшины, символи-

ческие вещицы и памятники с забытой войны.

В засаленном окошке гостевого дома горбоносый увидел мужчину. Чумазая физиономия с плоским носом и аспидной бородой, щербатый выбритый череп, уши оттопырены, и единственный прищуренный глаз угрожающе-подозрительно сверкает. Незнакомец взгляделся в пришедших и повернулся к другой фигуре, промелькнувшей за стеклом. Затем опустилась штора, и оба исчезли.

Скаут застопорил коня:

– Гляди-ка, браток...

Лысый мужчина с двуствольным ружьем в руках коротко окликнул прибывших, привлекая их внимание.

– Эй, вы!

Неуклюже хромя на деревянной ноге, он вышел под открытое небо и минуту-другую постоял, как деревянная фигурка одноногого солдата, с неряшливой бородой, обезьяньими ушами, папирусной кожей и бельмом на глазу. Одет он был в старый выцветший комбинезон из грубой мешковины и джинсовой ткани.

– Ирландцы среди вас есть? – громко спросил лысый с ирландским акцентом.

Они переглянулись между собой.

– Отвечайте, не обсуждая!

Горбоносый ответил:

– Нет, сэр. За себя говорю.

Кареглазый сказал:

– Я не ирландец, сэр.

– У вас ирландский акцент! – заметил скаут.

Мужчина сплюнул:

– Это потому, что я наполовину ирландец!

– И с какой половиной, я имею честь говорить?

– С той, с которой можно прийти к разумному соглашению!

Скаут кивнул:

– А другая половина?

– Я держу ее в своих руках, сынок.

Горбоносый вмешался.

– О какого рода соглашении идет речь?

Мужчина спросил:

– Чего вам надо?

– С нами раненый!

– У нас докторов нет.

Скаут быстро проговорил:

– Нам бы, брат, переночевать здесь.

Мужчина усмехнулся:

– А мою благоверную не послать ли за хлебами да тестом, а сынка моего не отправить тельца для вас заколоть?

– У меня найдется, чем заплатить. Но настаивать мы не будем.

– Вы вооружены?

Горбоносый сказал:

– Да, сэр.

– А кто, браток, в наше время с голыми руками ходит?
Кареглазый крикнул.

– С нами ребенок, сэр! Мы не ищем перестрелки!

Мужчина спросил:

– Это ты ребенок, что ли?

– Нет, сэр.

– А кто ты тогда?

– Никто, сэр.

– Как это может быть? Ты должен быть кем-то. Так кто ты?

– Ковбой, сэр!

– Ясно. С вами, если меня глаза не обманывают, индеец.

Горбоносый кивнул:

– Так и есть, сэр.

– У нас индейцев не любят. Они воры и убийцы. Хотя честные малые.

– И что это значит?

– Это я вас заблаговременно предостерегаю, сынок, чтобы вы ситуацию обмозговали.

Скаут сказал.

– За индейца я могу поручиться своей головой. Он сегодня мою шкуру спас от медвежьих когтей.

– А мне твоя порука, парень, что плевок. Вот, я ее взял и растер!

Мужчина пренебрежительно сплюнул, опустил ружье, подумал и представился им как ирландец. Сообщил, что сын его ирландец тоже. Еще немного подумал и сказал, что пу-

стит их на постой, но за гостеприимство пусть благодарят дух его покойной супруги. Ибо он не Авраам, они – не ветхозаветная троица, а кровля жилища его – не сень мамврийского дуба, чтобы здесь принимать гостей. И сам мужчина предпочел бы застрелить каждого из них по очереди, не старайся он сохранить светлую память о своей жене.

Когда гости вошли в дом, сняв шляпы, под их поступью мягко скрипели половицы. Раненого мужчину, который стрелял в них на равнине, им помогли устроить на втором этаже. Между тем в доме оказались и трое его приятелей, кого он прикрывал, пока они удирали несколько часов назад в поисках помощи.

У стены в прихожей стояли кремневые ружья и старые нарезные мушкеты, переделанные под капсюль, с медными хомутиками по всей длине цевья; там же стояли и укороченные кентуккийские винтовки, другие винтовки, чьи модели кареглазый не мог назвать, с расsverленными под увеличенный калибр стволами; третьи, видимо, в результате изнашивания желобков местный оружейник переделал под гладкоствольные.

На припорошенном пылью и песком старом патронном ящике стояли сапоги и пара ботинок на высокой подошве. В коробочке лежали пулеизвлекатели, а над ними – на вешалках, пылились старые залатанные пальто, один комбинезон с подтяжками и три куртки, и две меховые шапки.

– А где народ? – спросил кареглазый.

– Какой-такой народ? – хмыкнул ирландец.

Скаут настороженно поглядывал из стороны в сторону, идя по коридору. Темные однообразные комнаты были выполнены в безрадостных интонациях жуткой гризайли, как жуткие картины. С заплесневелыми стенами, прохудившимся потолком и прогнившим полом.

Друг за другом пришедшие и хозяин прошли в гостиную. В полумраке помещения сидели еще трое, двое чернокожих с большими глазами и белый. Приятели невезучего стрелка.

Сидели они в мертвенной тишине и гробовом молчании, потели и поскрипывали зубами яростно, как несправедное племя фанатичных аборигенов в предчувствии страшного суда, обещавшегося чуждой их пониманию религией. И некому из них было воззвать о прощении к здешнему богу, будто они глухонемые и слепые, и не понимающие слов, что он изрек.

Они сидели за антикварным столом, знававшим лучшие времена и накрытым скатертью, на которой стояли подсвечники без свечей и пустые тарелки.

Все молчали.

Один из постояльцев коротко глянул на пришедших и потупил взор.

Одноногий хозяин уселся в кресло у камина, поставив плевательницу между ног, настоящей и деревянной, и предложил гостям место за столом.

Горбоносый кивнул:

– Мы благодарны, сэр.

– Вы и должны быть, сынок.

На подоконнике среди осыпавшихся горшочных растений вырисовывался древовидный узор ржавой жирандоли с вековыми огарками уродливых свечей, из которых торчали скрученные фитили.

Запылившуюся полку над камином украшала медная фигурка витрувианского человека на подставке из гипса.

Кареглазый, скаут и индеец с младенцем на руках выдвинули стулья и заняли свои места. Вошел сын ирландца, бледный, с поджатыми губами, положил каждому кукурузной каши и отломил корку хлеба. Молча опустился на оставшееся место за столом, придвинул стул, угодливо сложил ладони и принялся неистово молиться с зажмуренными глазами. Как только молодой ирландец оттарабанил свою молитву, они принялись за трапезу со смиренными лицами, как ученики Христа, совершающие евхаристию над плотью и кровью учителя.

Лысый поставил ружье у кресла.

– У кого-нибудь из вас дети есть?

Они помотали головами.

– Вы, видать, волосы на будущее бережете. Это та еще морока, – добавил лысый, глядя на индейца с младенцем на руках. – Где его родители?

Горбоносый поднял глаза. Черноногий молчал.

– Не похоже, что вы ему отцы да матери, – лысый поскреб

череп.

– Они убиты. Нами, – признался маршал.

– Вами?

– Да, сэр.

– За что?

– Так случилось.

– Так случилось, что вы убили его родителей?

– Да.

– Без причины?

– Да.

– Может, вы хотели изнасиловать его мать?

– Нет, сэр.

– Уверен?

– Да. Была перестрелка. Так случилось. Они были убиты.

– А что вы и парня не убили? Или это девка?

Кареглазый коротко ответил:

– Мальчик, сэр.

– Не посчастливилось ему, что осиротел. Когда кровь теряет связь с кровью – это пропащая кровь. Обреченная на сиротство и скитания кровь. Кровь, которая прольется на чужой земле, где ее не примут. Ибо кровное родство непреложно по закону неба и земли.

Лысый ирландец отцедил длинную нитку слюны в плевательную урну, утер бороду и с ухмылкой поглядел на трапезничающих гостей.

– Так как его зовут? – спросил.

Горбоносый поглядел на индейца.

– Я у тебя спрашиваю! Что не отвечаешь? Ты там у себя в тарелке лик пресвятой богородицы узрел, что ли?

– Его имя Альсате, – ответил кареглазый за индейца.

Ирландец убежденно кивнул:

– Есть два козла, – сказал он. – Один козел по жребию за грехи народа, а другой для изгнания в пустыню. Но если козел – это человек с пропащей кровью, что тогда? Это дитя есть свидетель вашего беззакония. Кровь его убитых родителей на ваших руках, а ваши руки возложены над ним, как над огнем. И это дитя последует за человеком по жребию в искупительную пустошь. Оно будет идти за убийцей его родителей повсюду как тень.

– И что это значит? – спросил кареглазый.

– То, что я сказал. Или ты глухой?

– Нет, сэр.

– Значит, идиот?

– Возможно, сэр.

– Идиоты бесполезны. Ты бесполезен?

– Не знаю, сэр.

– Ты бесполезен.

Горбоносый спросил:

– Вы не знаете, сегодня здесь двое не проходили?

– Какие двое?

– До нас, но не раньше, чем после полудня.

– Не уверен, сынок. Тут много кто ходит, за всеми не успе-

дить. Да и некогда мне.

– У первого ухо отстрелено. Обрит наголо. Из одежды на нем только кусок ткани, чтобы срам прикрыть. Второй высокий, с лошадиным лицом и тупым взглядом. Один Христос на уме. Оба на лошадях.

Ирландец пожал плечами:

– Не, не видал. У меня бы из головы как пить дать такие не вылетели. Только вот не было их.

Кареглазый сказал:

– Может, еще придут.

– Сомневаюсь. Они кратчайшим путем пойдут. Каким и мы шли.

Ирландец сухо посмеялся:

– Отсюда, сынок, кратчайший путь только в ад, в какую сторону не иди.

Скаут глазел по сторонам. Ирландец вытащил из большого нагрудного кармана, какие бывают на джинсовых комбинезонах, бронзовый брегет на цепочке. Недешевый аксессуар. Затем ловким движением руки открыл часики и одним глазом посмотрел на циферблат.

Закрыв их и просунул обратно в карман.

– Для заморыша вашего мой сын лохань с подогретой водой приготовит, – сказал ирландец. – Да к кормящим матерям заглянет. Может, они малютке по доброте душевной титьку уступят.

Горбоносый поблагодарил его:

– Спасибо, сэр.

– Не за что, сынок.

Чернокожий, один из молчаливой троицы, посмотрел на горбоносого:

– Спасибо, что Джима вытащили.

Другой чернокожий сказал, ухмыляясь в тарелку:

– Какие-то проходимцы стреляли в нас.

– Ага, мы знаем, – пробормотал скаут. – Ваш Джим нам сказал. В полубреду.

– Четверо их было.

Белый из троицы сказал:

– Как и в вашей братии... Тоже четверо.

Скаут посмотрел на них, сказал:

– Занятно, брат, только мы не стреляли в вас.

– А кто ж тогда?

Горбоносый утер губы запястьем и выпрямился:

– Не мы.

– А кто?

– Не мы, – повторил он твердо.

– А нам откуда знать, что это не вы?

– Я живьем никого не отпускаю, а если и стреляю, то только по делу. До вашей же компании мне никакого дела нет.

– Допустим, что так, – напряженно произнес белый.

Сверху, со второго этажа, до них донесся крик.

– Воды! Я пить хочу!

– Господи...

– Слышу ваши разговоры! Знаю, что слышите меня!

Скаут сказал:

– Ну вот, очухался. Пусть сам все расскажет.

Кареглазый спросил:

– Мужику воды кто-нибудь отнесет?

– Да ты его, сынок, хоть по самую макушку в священные воды реки Евфрат погрузи – ему теперь только на господу уповать, – сплюнул ирландец.

Глава 11. Горе рожаящим

Они разместились для ночлега в просторном помещении на втором этаже. За индейцем пришла молодая девушка в темно-зеленой юбке, торопливо оправляющая потерявшую белизну кофточку. Ее бледное лицо цвета миндального молока слегка пунцовело от прилившей в волнении крови. Мужчины разглядывали ее с любопытством. Черноногий держал на руках закутанного младенца, когда они уходили – и мужчины из единственного окна со второго этажа наблюдали, как две фигуры идут по темной улочке к дальним постройкам.

Кареглазый снял сапоги и поставил у кровати. Кровать представляла собой каркас и матрац.

Кареглазый устроился на нем и напряженно глядел в потолок. На соседней койке лежал горбоносый в той же позе, но в сапогах, положив руку с пистолетом на грудь и надвинув шляпу на глаза. Кареглазый последовал его примеру.

Спустя некоторое время ему стало жарко, и с каждой минутой становилось только жарче, словно он горячечный больной, которого накрыли перьевым одеялом, а сверху еще одним, а затем – третьим, пока он не стал задыхаться.

Он взмок, по лицу струился пот, под барабанный бой и воинственный аккомпанемент удушливой жары у него перед глазами начали выстраиваться необъяснимые картины.

Навстречу ему из темноты выдвигалась странная мебель, и вроде бы он узнавал в ее смутно соблюденном порядке просторную комнату отчего дома с большими окнами, из которых открывается вид на вспаханное поле. Мерцали зажженные свечи на сервированном столе.

Головы родителей и двух сестер, склоненные в предобеденной молитве.

Они молились о кареглазом, и он слышал их речи и видел богословов в белых накрахмаленных клобуках, в гиматиях поверх длинных хитонов, держащих благовестие в одной руке, а в другой – масличную ветвь.

Сам Христос-спаситель спускался с небес в ослепительном сиянии божественной мандорлы. На разукрашенном амфитеатре неба ангелами разыгрывались удивительные зрелища. Плыли позолоченные ларцы, слегка приоткрытые, из них лучился гипнотизирующий свет невиданных драгоценностей, а по краям наружу выпадали, как цепи, окровавленные бусы и епископальные убрания, и апостольские каноны. И повсюду, куда бы кареглазый ни глядел, оживали чудесные картины.

Вереницами вдоль немислимых горизонтов протягивались факелы и сверкающие копи, что пестрели алмазами, как клыки в разверстой кровавой пасти мифического чудовища. Мимо его взора проходили проклятые династии и канувшие в небыль племена, и прямо в воздухе складывались магические круги, словно чья-то незримая рука придвигала

к нему эти зловещие фигуры одну за другой. Они связывались в кольцеобразные переплетения и меняли форму свободно, как огонь.

Кареглазый зажмурился и, стиснув зубы, сучил ногами по матрацу.

– Эй, проснись! Прекращай ерзать.

Горбоносый тряхнул его за грудки. Кареглазый проснулся. Он сел на матраце и снял с себя насквозь пропотевшую рубашку. Посмотрел на горбоносого, чьи оловянные глаза блестели как две капли агиасмы.

– Прекрати действовать мне на нервы! – буркнул маршал. – Хочешь устроить пляску духа, иди под открытое небо.

Он вернулся на свою койку.

– Ты по дому тоскуешь? – спросил кареглазый спустя какое-то время.

– У меня нет дома, ночью – где гладко постелится.

– Ясно. Слушай...

– Что, парень?

– Ты когда-нибудь видел, как лес рубят?

– Нет. Но я от знающих людей слышал, что на хорошую заточку топора уходит больше времени, чем на сруб самого дерева.

– А я вот вспомнил, как мы с отцом однажды пришли в лагерь лесорубов. Нам надо было денег на дорогу. Отец мой руку потерял и дело свое, и мы подыскивали лучшее место для жизни. Мужик, что нас представил главному, сказал,

мол, вот однорукий папаша и сынок его. Ищут они, где им деньгу зашибить. Сказал, что порознь, мы, может, непригодны, но вдвоем сойдем за одного или хоть бы за полчеловека.

Кареглазый прервался, поглядел на маршала, пытаюсь понять, не уснул ли он еще, а потом продолжил:

– Народ тамошний вроде проявил к нам интерес. Хотели поглазеть, по-видимому, что будет. Главный у них был такой здоровенный и тупой детина. Походил вокруг нас, сложив руки за спиной, и помычал с самодовольным видом. Потом громко сказал отцу, мол, мистер, паренек-то ваш, на мой взгляд, сделан из древесины второго сорта. И тут остальные расхохотались. Отец потрепал меня по волосам, чтобы я не обижался, но я видел, что сам он – в бешенстве. И вот нас приняли на работу. Меня подтягивали на веревках, чтобы рубить деревья в местах, до которых трудно было долезть. И с каждым взмахом топора щепки липли на вспотевшее лицо, и я понимал, что мужчина должен быть жестче древесины, которую он взялся рубить.

– Ты, видать, не шибко жесткий.

– Наверное.

– Вот и получается, что дерево рубит тебя не хуже, чем ты его.

Кареглазый сказал:

– Я взялся рубить дерево, которое мне не по силам. Да еще и тупым топором и со сломанными пальцами.

– Тут ты верно заметил. Не по силам. К тому же, парень,

месть дрянное занятие. Это палка о двух концах, и если схватиться не за тот, то путь твой будет короток, как девичья память.

– Тут и не поспоришь.

– Согласен?

– Наверное.

– Вот и славно.

Кареглазый поворочался:

– Не пойму.

– Что?

– У тебя сон спокойный.

– Да.

– Как так получается?

– Я просто научился оставаться неподвижным. Но сны мои кошмарные. Каждую ночь я умерщвляю своего отца.

– Не знал, что у тебя есть отец.

Горбоносый негромко рассмеялся:

– А я, по-твоему, от святого духа и девственницы?

– Я не про то.

– А про что?

– Думал, ты... А, неважно. Так что там за кошмары?

– А с чего ты взял, что я буду перед тобой выворачиваться?

– Все равно не спим.

– Наверное.

– И за что ты его убиваешь?

– Кого?

– Отца.

Горбоносый помолчал, потом заговорил с большой неохотой:

– Он чем-то заболел. Помню, что он бледный и худой был. Мокрый от пота. Трясся от боли. Какая-то жуткая зараза его обескровила как громадная пиявка. А я шепчу ему на ухо, что убиваю не из сострадания, но потому что ненавижу. И даже теперь, когда он уже давным-давно мертв, я постоянно вижу то утро во сне, только оно – есть ночь, а я вынужден душить мертвого отца. Снова и снова. Каждую божью ночь, но он отказывается умирать.

Кареглазый промолчал и отвернулся. Из комнаты в конце коридора захрипел голос.

– Кто-нибудь! Вы здесь? Дайте мне воды! Я умираю от жажды, ради Христа!

– Боже, опять...

Началась недовольная суета.

– У кого-нибудь вода есть?

– Была где-то.

– Воды, пожалуйста!

– Господи. Может, пристрелить его, чтобы не мучился?

– Дайте ему воды, черт возьми! – сказал кареглазый.

– Сам давай. Я туда не пойду.

– Он же твой друг.

– Не мой, уже нет... Он покойник.

– Давай мне свою флягу. Я свою воду выпил.

Чернокожий неохотно протянул кареглазому флягу со своей койки:

– Пусть заткнется, спать мешает.

– Он вам жизнь спас, – заметил горбоносый. – Хороша благодарность.

– Пусть лучше мне выспаться даст, иначе что толку от спасения...

– Ублюдок.

Прошептал кареглазый, вышел из комнаты и прошел по коридору, скрипя половицами. С лязганьем приоткрыл дверь.

– Можно?

– Что? – спросил мужчина, лежавший на кровати.

– Я воду вам принес.

– А ты кто?

– Сам не знаю, – ответил кареглазый.

– Убить меня пришел?

– Что?

– Убить меня пришел?

– Нет.

– Хорошо, с этим я и сам справляюсь.

– Вижу.

Раненый мужчина сглотнул:

– У тебя, малой, пить есть?

– Да, я же сказал.

Он прошел в комнату и дал мужчине выпить из фляги.

– Вот благодарю так благодарю.

– Я пойду.

– Стой. Сядь.

Кареглазый придвинул табурет и сел.

– Зовут тебя как?

– Меня?

– Не тебя, а того мужика, который у тебя за спиной.

Кареглазый обернулся и оглядел пустую комнату.

– А ты туповат. Но вот тебе крест, я имя твое в могилу унесу.

Оба посмеялись. Мужчина спросил:

– Ты, все-таки, кто?

– Сам не знаю. Просто никто.

– Вот и я не знаю – кто я. Мой тебе совет добрый, лучше поскорее узнай, кто ты. Пока не кончил как я.

Ковбой кивнул:

– Постараюсь.

– Ладно. Старайся. Черт... Где я?

– В богом забытой дыре.

– Похоже на то. А как я тут очутился?

– Я и мои приятели тебя привезли.

– Да?

– Да. Ты по нам стрелял.

– Не помню.

– Удобно.

– Но я просто так не стреляю в людей.

– Ты убил мужика в прерии?

– Какого-такого мужика?

– Не знаю. Мы труп нашли.

– А, черт... Нет, – пытаюсь вспомнить, о чем речь, сказал мужчина. – Нет, не я. Это другие. Покойник тот с нами был.

– Ясно.

– А где мои дружки? Они, вроде, мне за помощью отправились.

– Спать легли. Вряд ли они собирались возвращаться.

– Черти. Но я на них не в обиде. Нет, сэр.

– Они живы-здоровы.

Мужчина, потея, напряженно проговорил.

– Ну и хорошо. Оружие есть у тебя?

– А тебе зачем?

– Надо. Так есть или нет?

– Да.

– Какое?

– Отцовский винчестер.

– Большеватое. Мне бы что попроще, но выбирать не приходится. Он заряжен?

– Всегда.

– И рука у тебя на стрельбу набита?

– Более-менее.

– А людей убивал?

– Стрелял по ним, может, кто и умер под моими пулями.

– А если еще одного попрошу убить, не откажешься?

Кареглазый отклонился:

– Кого?

– А ты, малой, и вправду звезд с неба не хватаешь.

Кареглазый промолчал.

– Сколько тебе лет?

– Девятнадцать.

– У тебя и семья есть?

– Да.

– Отец и мать?

– Да, отец и мать.

– И больше никого?

– Есть старшая сестра и младшая сестра.

– А дети у тебя есть?

Кареглазый покачал головой:

– Нет.

– Почему?

– Молод еще.

– Ты еще молод, но уже ощущаешь.

– Что ощущаю?

– Сам знаешь.

– Знал бы, не спрашивал.

– Ощущаешь, что недостаточно жив. Но уже не надышишься перед смертью.

Кареглазый усмехнулся:

– Это ты ощущаешь, а я жив-здоров.

– Возможно. Но я умираю с этим, а ты живешь. Вот между нами разница.

Кареглазый промолчал.

Мужчина посмеялся:

– Чья участь хуже, твоя или моя?

– Твоя.

– Может и моя. Если я не ошибаюсь, ты возомнил, будто у тебя силенок хватит, чтобы самому по себе жить.

– Самому по себе?

– Да. Самому по себе.

– Не пойму, что ты имеешь в виду?

– В одиночку. Самому по себе. Без причины. Без смысла. Без того, чтобы тебя тянули за уши. Не ставя никому никаких условий. И принимая этот дар, каким он тебе дарится. Из рук умирающего.

Кареглазый смутился:

– Какой дар?

Мужчина смотрел в потолок.

– Человеку хочется уйти туда, где он почувствует себя живым, разве нет?

– Не знаю...

– Мне хотелось. И тебе хочется. Но ты не чувствуешь этого. Всюду, куда не пойдешь – ты мертв. И окружен тишиной. Ничего не меняется. Вокруг только плоды твоего бесчувствия. Унылая серость мертвого мира. Так или нет?

– Нет... Не знаю...

Кареглазый мотнул головой. За окном шептал ветер. Ороговевшие статуи деревянных людей, загрунтованные птичьим пометом. Ломкие люди из ногтей. Под защитными покровами. Окаменевшие и поросшие былъем. Он видел их по пути. Они везде. Как замшелые камни на луизианских болотах. Бесплодные жизни моллюсков в молитвенной раковине. Бесконечная молитва однорукого отца.

– Вот кто мы есть такие. Мы молимся и застыли в молитвах, как соляные столпы. Души как бескрайний солончак. Все, что приходит в нас – умирает в нас. Как соляной рассол, испаряющийся в теплых лучах солнечного света...

Кареглазый сказал:

– Все люди одинаковые.

Мужчина глядел на него молча, потом кашлянул и спросил:

– Одинаково мертвы?

– Да. Одинаково мертвы.

Мужчина улыбнулся:

– Это потому что мы не движемся туда, куда идем. Этот факт объясняет все. Объясняет, почему мы не можем дойти и почему умираем раньше, чем дойдем. И умираем посреди нигде, вот как я умираю. Посреди проклятого нигде! В богом забытой дыре, по твоим собственным словам.

Кареглазый сказал:

– Я пойду.

– Куда? Посиди минуту-другую.

– Ладно.

– Порядочный ты парень.

– Если ты так говоришь.

– Тебя по имени как звать?

– А тебя?

– Джим Две Жилы или Двужильный Джо.

– Ты с таким именем родился?

– Рождаются, парень, с натурой, а имя после догоняет. Индейцы это понимают.

– Ясно.

Мужчина повернул голову и шевельнул рукой. На комод в углу лежала кобура с флотским кольцом.

– Это мой?

– Твой.

– Забавно.

– Что?

– Хочу, чтобы ты меня застрелил.

– Тебя, по-моему, уже один раз застрелили.

– Это ты верно сказал. Но если всерьез, я хочу...

– У тебя какие шансы?

– Без доктора в этой дыре? Думаешь, мои дружки со мной будут таскаться. Я им седла кровью замараю с пульей в печенках.

– В кишках.

– Неважно.

Кареглазый спросил:

– Ну застрелю... А потом что?

– Самому любопытно, малой. Но один не узнает того, что узнает другой. Это убийством не будет. Не уверен, будет ли это самоубийством. Но я одной ногой уже на том свете стою. Одна пуля всего-навсего. Я заслужил одну пулю. Каплю свинцовой воды, отлитою в безупречной форме. Если ты меня обратно вытащить не можешь – то хотя бы помоги старику через порог переступить.

– Ты не старый.

– И на том спасибо.

– Не за что.

– Все уже решено давным-давно. Ты и я. У меня кишки перемешаны. Сколько я еще промучаюсь? Ублюдки! Едва ноги унесли от них. Эти мерзавцы по нам стрельбу открыли как по животным. Без предупреждения. Без словца единого. Как по зверям.

– Может, за вами какой грешок тянулся?

– Грешок. Я не знаю... Не помню. Может и тянулся. Страшно тебе?

– Мне?

– Да.

– А должно быть?

– Мне страшно. Но меньше, чем я ожидал. У меня есть дети.

Кареглазый спросил:

– За ними есть, кому приглядеть?

– А что?

– Ничего.

– Ты им в отцы напрашиваешься?

– Я просто спросил.

– Просто спросил?

– Да, просто спросил.

– Ничего просто так не случается, малой. Заруби себе на носу.

– Ладно.

– Послушай вот что. Этому миру не нужны его собственные дети, а мои – чужие. Ты понимаешь, мои дети – это чужие дети.

Кареглазый промолчал.

– Какую глупость сотворил, господь не помилует. Глядел на своих детей и кажется, что голыми руками их умерщвляю. Зачал кровушку. Не поймут, что их отцы – есть их убийцы. Уповай на то, что и твои дети не поймут. Никогда не поймут. Иначе худо тебе придется, ты поверь. Худее некуда. И вместо лжи и благодарности получишь правду-матку. Нас всех убили наши отцы и наши матери. Горе рожаящим и беременным! И питающим сосцами в те дни!

Мужчина отдышался. Кареглазый смотрел на его бледнеющее лицо.

– Я ведь их каждое утро умерщвлял, – продолжил он. – Когда они просыпались с сердцами, преисполненными ложных надежд. И каждую ночь я голыми руками душил их, ко-

гда они засыпали. Это настоящий мрак. Я ежедневно умерщвлял своих детей. Это то, что я с ними сотворил – когда позволил себе иметь детей в этом мире.

Кареглазый не знал, что ответить. Он поднял глаза на окно, за которым ему померещилось чье-то лицо, составленное из листьев и ветвей.

– Я их убийца, – прошептал мужчина на кровати. – Я убил их собственными голыми руками. Я глядел на них, а видел только будущих мертвецов. Они улыбались мне! Отцы учат своих сыновей быть благодарными им... За что?

– Не знаю, – ответил кареглазый.

– За то, что они убивают своих сыновей! Мои дети... Их кровь, которая уже пролилась или еще прольется, на моих руках. Это самое омерзительное чувство моего отцовства. Я никакой не отец, я не господь бог, а просто-напросто убийца. И ты будешь им. Вот какой грешок за мной. А все прочее, что я творил – это ерунда. Сушая ерунда.

Кареглазый не ответил.

Мужчина посмеялся

– Со мной еще трое были, двое чернокожих и двое белых. Они просто напуганы. Одного убили на месте, а я пулю словил – но ради чего? А вот оно! Долгое время земля творилась, чтобы к этому часу прийти. Мои поступки и твои поступки. И все яснее ясного, как на ладони. Ну хватит болтать. Стреляй, а потом, если мозгами дорожишь, возвращайся домой к своей родне. Не становись как я, тогда, может, и

не кончишь как я.

Оба помолчали, ибо не могли пересилить безмолвие. Словно маленькими словами, что были произнесены, себя исчерпала сама ночь – и не оставалось во всем мире ничего, что было неизреченным.

– Ну, облегчишь участь мою? Или мне и дальше зазря простыни кровью марать?

Кареглазый судорожно сглотнул, утер ладонью вспотевший лоб. Он ощутил себя слабым, беспомощным. Откуда-то снизу раздались голоса и послышался топот.

– Что там?

– Не знаю.

– Ну так узнай.

– Я вернусь, – отозвался он коротко и вышел в коридор.

Горбоносый, втягивая живот и поправляя ремень, направлялся за народом, все были вооружены. Чернокожий быстро схватил с матраца и надел свою шляпу, движением большого пальца подтянул тесьмы подтяжек на плечи и вытащил револьвер из кобуры на поясе.

– Индейцы лошадей срезают! – крикнул сын ирландца снизу.

– Вот сучьи дети! – с задором рывкнул лысый, стуча деревянной ногой по полу.

Горбоносый, скаут и кареглазый устремились вниз. Ирландец переместился в другой конец комнаты с ружьем. Вытащил из подвешенной кобуры на ремне, обмотанном вокруг

гвоздя, свой револьвер.

Жутко бранясь, он оттянул курок и направился к выходу из дома. Горбоносый, сын ирландца и двое чернокожих последовали за ним, а последние на ходу хватали винтовки в коридоре и, выглядывая из проема, заряжали их.

Кареглазый спохватился, что оставил свой винчестер в чехле, прилаженном к седлу, а седло – при въезде в конюшню.

– Берите наши ружья! Покажем этим индейским недоноскам! – крикнул лысый, толкая плечом дверь и впуская в дом ветер и запах реки.

Кареглазый вооружился мушкетом и поторопился к окну. Снаружи было темно.

Он сумел различить смутно очерченные силуэты всадников, вооруженных копьями, луками и винтовками и восседающих на неистовых конях с большими светлыми глазами. Животные клочкотали как адские гончие, гоготали и остервенело рвались в мнимый бой. Их силуэты, казалось, просвечивали, переходя один в другой, как призраки в какой-то театральной мистерии. Улица вдалеке утопала будто на дне колодца, тускло освещенного луной. Земля задрожала, послышались иноязычные вопли.

Кареглазый перекрестился.

– Чертовщина! – сказал скаут.

– Какого дьявола вы штаны протираете у моих конюшен, скотоложцы чертовы! – крикнул лысый. – Ищете, где бабы

подешевле!?

Кто-то вышел из соседнего дома с револьвером и фонарем. Другой вышел из конюшни. Кареглазый прищурился.

Мужчина был похож на индейца. Высокорослый и широкоплечий. На запястье браслет, волосы смолисто-черные и лоснятся, заплетенные в косу. Из одежды на нем был накрахмаленный пиджак, а из-под него торчал воротник ситцевой рубашки. Под короткими бриджами белели вычурные чулки и совсем чуждо смотрелись на нем мокасины. Индеец, очевидно прошедший через болезненную христианизацию, ступил в стремя уведенной из конюшни лошади, взялся за рожок и, оттолкнувшись пяткой, сел в седло столь просто и сноровисто, как делал тысячу раз до и сделал бы тысячу раз после – если бы этим дело не приняло дурной оборот.

Коротко прогрохотал револьверный выстрел.

Простреленный насквозь индеец, выпустив из легких непригодный воздух, подпрыгнул в седле. Из его груди выплеснулась красным фонтаном кровь. Налившееся свинцом тело замертво рухнуло вниз, подняв облако пыли. Нога дикаря зацепилась за стремя, и напуганная лошадь бросилась наутек, волоча прочь по улице кувыркающийся и вращающийся труп сквозь наступающую конницу разъяренных краснокожих.

– Матерь божья!

Кареглазый опустил на пол и зажмурился, когда слышались выстрелы.

Стреляли из винтовок.

В воздухе над ворвавшимися в поселение индейцами повис тонкой полупрозрачной вуалью пороховой дым, быстро рассеялся по ветру. Угнанные лошади переполошились, топчешатые, темно-каштановые, с желтыми мохнатыми впадинами промеж ребер, одни кружились на месте, другие рванули прочь. Земля забренчала под копытами двух десятков напуганных мустангов.

Индейцы на скаку зажигали факелы и швыряли на крыши домов. Немедленно загрохотало отовсюду из соседних строений. По ним лупили из дальних окон гремящие пистолеты.

Дом, в котором кареглазый находился, наполнился звенящими и вибрирующими мелодиями. Стены ходили ходуном, прибывшие индейцы в бешеном темпе палили по осыпающимся окнам. Скаут и белый мужик садили по ним из старинных мушкетов, после выстрела бросая их под ноги на пол и беря ружья, которые рядком поставили друг к дружке у стены.

– Эй, стреляй, ковбой!

Они делали по выстрелу без промаха в кроваво-красную воронку уличной пыли, высовываясь и чертыхаясь, а потом прятались за трещащими досками от канонады ответного огня. Из горящих домов уже выбегали люди, тоже горящие, они бежали к мустангам и вцеплялись в них, пытаясь спасти всадников.

Сын ирландца возился с давшей осечку винтовкой, исте-

кая кровью от пулевого ранения в плечо. Визжа и вопя, погибла лошадь с отстреленным ухом и мозговым веществом, виднеющимся в открытой ране в черепе. Перекрикивающиеся индейцы спрыгивали со своих мустангов, врываясь с ножами и топорами в дома, из которых доносились вопли.

– Черт! Там черноногий!

Другие дикари скользили близко к земле и отвечали на стрельбу стрельбой из фитильных крупнокалиберных ружей времен гражданской войны. Третьи шпарили из однозарядных винтовок прямо с лошадей, у которых перекашивались от ярости и ужаса длинные пучеглазые морды со шелкающими зубами. Вереницей они металась в стремительно видоизменяющихся клубах пыли из-под копыт, перемещались там, менялись местами, как игральные карты или шахматные фигуры, составляющиеся в различные узоры, смутные расплывающиеся абрисы и мимолетные комбинации из вспышек, образов, криков и тел.

– Просто стреляй, пацан! Стреляй, мать твою!

Кареглазый выстрелил. Кровь на улицах горела лазурью в свете луны, которая будто скорбела от потери единокровных с ней сыновей, что лежали, ползали, скалились, пытались стрелять из пустых винтовок по домам вокруг них, раненые, поднимались, брались опять за ножи и копья, хромя, прыгая на одной ноге, шли к дому, откуда по ним стреляли поочередно скаут и ирландец, и двое негров. Остальные индейцы один за другим под дождем свинца кто падали со сво-

их иступленных кобыл лицом вниз, кто повисали на них, цепляясь за холку и утягивая животных за собой в кровь и грязь, словно от этого зависела их жизнь.

– Стреляй! Их все больше!

Скаут крикнул кареглазому, и тот неохотно высунулся из окна и наугад выстрелил из мушкета. Пуля попала случайному индейцу в лицо.

Кареглазый бросил мушкет.

– Пусть это прекратится! – крикнул он.

– Хватайте динамит! – рявкнул кто-то. – Поджигайте!

Кареглазый зажал уши.

Грохнуло.

Даже в темноте не было видно ни пламени, ни самого взрыва. Послышалось, как сыплются стекла. Индейцы, что еще стреляли с лошадей, застопорившихся посреди улицы, вдруг оказались на земле кто без рук, кто без ног; с полопавшимися головами, чье содержимое смешалось с крупичами чего-то, похожего на крупную картечь; с краснеющими дырами в груди, животе, на лицах. Кто обезумело кричал, кто невнятно бормотал, кто просто молчал, они лежали там как поломанные игрушки от взрыва петарды, деревянные и оловянные солдатики. Люди и кони вперемешку. Трепещущий воздух вокруг них постепенно окрашивался в розовую дымку.

Слышались звуки стрельбы, то возникающие, то прекращающиеся опять. Слышалось истерическое гоготание и оса-

танелое ржание искалеченных коней, которые стояли будто на подогнувшихся ногах или скользили на льду, и куски оторванных и отстреленных конечностей были раскиданы во круг, как на изуверской скотобойне.

– Боже мой, – бормотал кареглазый, – боже мой...

Горбоносый крикнул:

– Там черноногий! Ребенок, черт подери!

В отдалении слышались истошные крики детей и надры вистый женский плач, несколько человек с ведрами, глухие к мольбам о помощи, спускались к реке, чтобы погасить пла мя, расплзающееся по крышам домов и пожирающее их имущество.

Горбоносый, скаут и двое чернокожих, вооруженные ре вольверами, метнулись на улицу, отстреливая оставшихся дикарей.

– Сюда!

Вчетвером они ворвались в помещение, откуда слышался плач.

Женщины, покачиваясь, как умалишенные, прижав к се бе плачущих детей, согнулись в сырой тени пугающей окро вавленной формацией чего-то чудовищного, чья родослов ная будто бы ведется от самого дьявола. На все их обличье была отброшена страшная живая тень, из-за чего причита ющие женщины напоминали обгоревшие останки человече ских тел.

Помещение залито кровью и завалено трупами. Горбоно-

сый выругался:

– Черт...

В мерклом свете из дверного проема обрисовалась его фигура. В доме, как на авансцене, в карикатурных позах, словно это безобидная детская игра или комическая театральная инсценировка, лежали искромсанные трупы нападавших индейцев.

Черноногий, медленно моргая птичьими глазами, возвышался над ними среди сказочных декораций этой жуткой апокалиптической мистерии подобно охряному апостолу. С тяжелым обгаренным распятием в одной руке и пятизарядным кольцом патерсона в другой.

Он был окроплен мученической кровью убитых и истерзанных, и все лицо его было как экзотическая маска, а наряд теперь напоминал яркое карнавальное платье, как если бы он возвратился с какого-то страстного безумного торжества, свидетельствуя само кровавое воскресение Христово.

– Будь я проклят, – пробормотал за спиной горбоносого скаут. – Это бойня... Это же... Чертова скотобойня!

Когда черноногий, перешагивая через изрубленные тела, уронил на пол глухо брякнувшее распятие и вышел под открытое испещренное звездами небо, то ступал он босяком по земле, где перемешались все оттенки красного.

Горбоносый, отступивший с его пути, спросил:

– Где ребенок? Он жив?

– Я спас их. Всех. И женщин, и детей.

Скаут сплюнул:

– Спас, как же, – пробормотал он. – Кроме тех, кого умертвил. Всех не спасешь. Черт подери... Ну и бойня.

Ирландец с ружьем в одной руке и револьвером в другой направился, ковыляя на деревянной ноге, к индейцу, который медленно умирал под тяжестью застреленной лошади.

– Ну? – спросил он, поставив ногу на живот кобылы. – Вот оно, американское правосудие! Вот он – мой шестизарядный вразумитель!

Народ, что бегал с ведрами, уже влезал на крыши по подставленным лестницам и тушили огонь.

– А ты что? Эй, смотри на меня! – лысый ткнул умирающему индейцу револьвером в рану на плече. – Хотели вернуть, что ваше? Бери, вот оно! Земля не моя, это ты пытаешься выговорить? Побереги дыхание. Да, может, не моя земля... Но знаешь, дружище? Она и не ваша. Воздух не мой? Но ведь я дышу им! И земля не моя? Но ведь я топчу ее ногами! Вернее, одной ногой топчу ее. И небо над головой не мое? Но я задираю голову и гляжу на него. И знаешь, друг мой, я вижу его ничуть не хуже, чем твой дикий народ. Вот так вот... Здесь все ничейное, в этом мире. И каждому может перепасть то, чем довольствовался другой. Вы тут жили, а теперь и я поживу. И некому запретить мне вдыхать воздух и пить воду. Где твой бог? Он взял у тебя и дал мне. Твой бог мой слуга. Умри с этим знанием, красный.

Лысый направил ружье ему в лицо, ухмыльнулся и вы-

стрелил.

С ранней зарей, отыскав разбежавшихся лошадей, они вчетвером собрались продолжить путь.

Кареглазый перекинул через плечо длинный ремень увесистой сумки. Взял короткоствольную винтовку отца, из которой застрелил женщину. Застегнул ее в чехле, а лямку чехла зацепил за рожок. Поглядел сначала на скаута, который перезаряжал свой декорированный револьвер и бормотал слова из нагорной проповеди, а затем на горбоносого. Тот прислонил к уху старенький довоенный кольт, как сформированную чудесными морскими силами раковину, медленно и аккуратно прокручивая барабан и вслушиваясь в короткие клацанья и щелчки.

Кареглазый кашлянул в кулак и снял шляпу. Горбоносый глянул ему в глаза, зажал ноздрю большим пальцем и отсморкнулся, втянул живот и поудобнее приткнул сбоку взятый у мертвого индейца револьвер, после чего угрюмо харкнул на темно-красную землю, окрашенную всеми оттенками восходящего солнца.

– Я с вами не иду, – сказал кареглазый.

Скаут посмотрел на него.

– Вернусь домой. Достаточно уже дел наворотил.

– Интересно бы послушать, каких-таких дел.

Горбоносый ответил:

– Ну бог с тобой. Так и должно быть.

Кареглазый отцепил лямку и протянул горбоносому вин-

товку, а затем и патронную сумку.

– Используй по назначению.

– Уверен?

– Да.

– А отцу что скажешь?

– Скажу, что другу подарил. Ты ведь мой друг.

Горбоносый посмеялся:

– Если кто спросит про одежды, ответь, что в прериях идут только свинцовые дожди.

Кареглазый запрыгнул в седло, смерил взглядом бронзовую фигуру индейца. Стоическое, благородное и непримиримое лицо. Кареглазый ощутил, что его собственные идеалы уже давным-давно поколеблены, а жизнь – непонятна ему. Тело его труха и тлен. Внутренности окаменели и покрылись мхом, в особенности – его сердце. Одет он в попорченную ветошь, а все, что вдыхает – есть прах земной. Его пища с прелью. Он нищий духом и утратил волю. Живет плотью и предназначен разложению. Даже если существует нечто, называемое душой, оно отправится в землю вслед за его телом. Но этот индеец не такой, как он. Вот человек, научившийся от животного. От почвы он принимал в дар семя. От воды принимал в дар воду. От огня – жар. От воздуха – дыхание. Только от неба не имел нужды брать. От царства небесного происходящий и не помнящий ничего, кроме жизни. Сын для отца и отец для сына. И отец для него только отец. И он для отца только сын, не ведающий, что за этими

словами дьяволом стоит первородный грех прародителей человеческих. Ему известна только любовь, божья и человеческая – и все, что это дитя творит, является проявлением этой магической и сверхъестественной любви. И потому оно не совершает злодейства в чистом сердце своем, и не пачкается пороками, и не услаждается сладостями, и не брезгует горечью. И глаза его, как две птицы, приучены к небу и свободе, ибо взгляд его вскормлен был грудными железами млечного пути. Созвездием волчицы, к чьим сосцам он с жадностью прикивал. И это дитя есть чудо господне.

Оно претерпело утомительные сны, от которых страдают страстотерпцы и грешники, и оно не соблазнилось стезей отступничества. Не напугалось всемогущего дьявола, чье имя невежество, и хотя его пытались развратить до такой степени, что оно должно бы совершенно утратить человеческий вид и предстать на божьем суде в столь непотребном облике, что осталось бы неузнанным даже перед лицом творца людского, оно не развратилось, это дитя, это чужеродное творение. Оно научилось богу. Вот его история. И вот ее конец.

Кареглазый посмотрел на черноногого сконфуженно и, не зная, что сказать, кивнул и в молчании отвернулся. Отыскал ступней стремя и легонько тряхнул поводья. Уверенно повел лошадку навстречу туманному утреннему рассвету, из которого уже не вернулся.

Глава 12. Либо я, либо моя могила

Негр во вспыхивающей зарницами полутьме наблюдал за ковбоями и скотом, чьи едва различимые ветхие силуэты вырисовывались сквозь мерцающую завесу пыли.

Глаза его, широко открытые, яростно пламенели, как жаровни на пилястрах эллинских храмов. Он вслушивался в крики, которые издавали ковбои верхом на клейменных конях, направляя шумное беспокойное стадо. Полусонной процессией брели они вдоль холмов. Техасцы в десятигаллонных шляпах, что гарцевали на конях с внушительными кольтами в кобуре. Мексиканцы в собственноручно плетеных сомбреро, со стародавними самодельными зонтами в руках. Братия вспотевших индейцев в разноцветных банданах, жилетках, чаппарахас из козлиной шкуры с шерстью наружу и с мешками на седлах. Они отделились от процессии и вереницей направились в безветренную прерию на излов мустангов для предстоящих игрish. Негр заметил белых в клетчатых рубашках, джинсах и старых сапогах. Чернокожих в епанчах и вретисах. Как бедуины, вынужденно кочевали они в неподходящий час по безбрежной дикой равнине такими же безымянными и безликими тенями, как все тут. Гнали стадо коров и пони. Большие тени в облаках пыли.

К утру погонщики скота разбили бивуак на краю прерии. Негр дожидался, пока наполовину не оформилось солнце,

золотое и сияющее, как отполированный самовар, и медленно принялось продвигаться по светло-голубой акватории неба пылающим галеоном. Оно спровоцировало некую волну освободительного движения, и вслед за этим самозванным полководцем в белом куклуксклановском колпаке с кисточкой, как у беспечного героя детской сказки, вслед за этим чудом, небесным светилом, волочилась его многопарусная армада, преимущественно состоящая из худосочных облаков в лучистом обрамлении, одно из которых усердной галерой с подчеркнутыми рядами весел вырвалось далеко вперед остальных, переливаясь и рдея, и меняя окрас и форму на ходу.

Негр поднялся на холм, откуда взирал на бивуак, где суенилось множество народу и откуда в пустое небо потянулись, подобно обгоревшим в пламени ада рукам, скрученные ленты черного дыма.

Скоро народ заприметил постороннюю фигуру и глазел на нее, словно это явление Христа. Высокорослый зыбкий силуэт негра, мреющий на фоне разгоряченного солнца, которое прокладывало себе путь сквозь вязкую массу грязно-черного, перепачканного копотью утреннего неба.

Негр шел к ним, неторопливо и осторожно спускаясь с холма и отыскивая тропу босыми ступнями. Промокшие сапоги он связал веревкой и перекинул ее через плечо. Ковбои, среди которых и чернокожие, и краснокожие, и белые, и бог знает, какие еще, встречали негра дружелюбно – как

какие-нибудь ветхозаветные старцы, принимающие в гостях безымянного пророка, кто говорит не словами, а делами.

Безносый старик плыл сквозь расступающуюся толпу, одетый в тяжеловесный непромокаемый макинтош и прочие выгоревшие под солнцем одежды. Его долговязая фигура с кривыми ногами и лопатовидными ладонями походила на чучело птеродактиля, на которое напялили прохудившиеся чулки и траурный мять из состарившейся человеческой кожи. Ковбои, этот полукочевой народ, обреченный на постоянные скитания, кто полуголые, кого он застал за бритьем, кто нагие, кого он застал за тем, что они подмывали срам и сливали нечистоты у ручья, все застывали и поглядывали на него с любопытством.

Негр снял шляпу и опустил руку к груди, словно находился в церкви, и хотя он улыбался – лицо его было странно невыразительным, как гримаса безносого каменного истукана с островов пасхи.

– Я ищу мужчину, известного как Медвежий Капкан! – произнес он громко.

Молодой чернокожий парень, обнаженный по пояс, сидя на табурете, ловко брился над лоханкой с водой, вертя головой так и сяк – глядясь в смутное отражение, куда осыпались клочья срезанной бороды.

– У вас, мистер, к Моррису дело какое-то? – спросил он.

– Этот мужчина предлагает тысячу долларов любому человеку, кто принесет ему голову Красного Томагавка, – ска-

зал негр.

– Ага. Но при вас, мистер, я только одну голову вижу. Да и та у вас на плечах.

Негр не ответил.

– Вас как зовут, мистер?

– Барка.

Чернокожий смыл пену и утер лицо льняным шейным платком, а затем поднялся, взял лоханку и выплеснул содержимое в ручей.

– Ну, мистер, могу сказать вам, что Медвежий Капкан ранним утром ушел в прерию со своими одомашненными лакотами, а вернется только к вечеру на игрища, когда будут празднования и песни.

– Я подожду.

– Как хотите, мистер.

К вечеру небо раскинулось над их бивуаком сплошным испещренным звездами киворием, как над усыпальницей умерших царей. Пустая прорубь луны среди безрыбного океана, откуда нечего черпать. Созвездия грааля, орла и циркуля. На открытом просторе среди взвивающихся пламенных знамен им было жарче, чем данайцам, толпящимся в чреве деревянного коня.

Они праздновали чуть ли не до раннего утра, на протяжении всей ночи. Полубезумные лица в темных и одновременно ярких тонах пламени костров. Странные фигуры в лунном свете и непроглядных клубях жгучей пыли. Только негр

оставался недвижимым среди оглушительных воплей и безудержных плясок, на вытоптанной тысячами следов арене, ограждением которой служила наспех составленная живая изгородь из окрашенных в землистые оттенки переплетающихся и вспотевших человеческих тел.

Они напивались и веселились, и толкались, и наваливались друг на друга, и делали ставки, перекрикивая один другого. Самые храбрые поочередно влезали на сумасшедшего гогочущего мустанга, брыкающегося хлеще самого дьявола, от взмокшей холки которого поднимался раскаленный пар.

– Загони его!

– До смерти! До смерти давай!

– Вот прыткий сучий сын!

Все это действо напоминало сценическую постановку, как в дешевом гастрوليрующем театре, на гнилых подмостках которого выплясывали соломенные паяцы в карнавальных нарядах с перемешанными в клею опилками в башке, цветастые качина и деревянные марионетки, скоморохи и еще какие-то жутко загримированные актеры в париках и масках.

Танцевали все.

Всем бессмысленно-вопящим гуртом они вытворяли комическое скоморошество, а с ними дикий запыхавшийся мустанг и великая блудница, чьи платья подлетали в неистовой пляске и оголяли ту ее область, где багровели массивные и принявшие в себя множество мужей детородные органы. Фоном этому безумному маскараду служили нарисованные

солнце и луна. Столь же искусственные, мертвые и выделанные, как все остальное здесь. Равные в своей нарисованной и фальшивой славе прочим небесным светилам, вырезанным из подметок, бумаги и картона.

Бледно-голубые бутафорские шары в глубине полуночного шатра на уподобленной небосводу перегородке, где само мироздание расшатывалось и зыбилось от умопомрачительного топота сотен разгулявшихся мужчин.

Пламя костров взмывало ввысь, к переливающимся впадинам затемненной черноты, принимая формы человеческих тел, среди которых негр увидел танцующего горбоносого мужчину, чье багрово-красное лицо с крупными очертаниями, все размалеванное охрой, казалось ему неузнаваемым и знакомым одновременно. Он походил на римского цезаря или на вождя индейцев, и одеяния его, дарованные ему пламенем, соответствовали образу: из-под наплечной накидки, похожей на роскошное пончо, виднелся торс, обезображенный старыми шрамами, а голову его, которую горбоносый запрокидывал в пляске, украшал тяжеловесный, волочащийся по настилу из досок венец, составленный из длинных, тоже разукрашенных всяческой пестрядью перьев орла, как своеобразная корона индейских вождей.

Он скакал по дребезжащей сцене среди прочих кукол и марионеток, взмахивая согнутыми в локтях руками и подражая птице с лучистым оперением над головой. А рядом с ним, в белом крестильном анаволии, плясал безвестным ак-

тером темнокожий младенец, словно новорожденный прозелит, готовящийся войти в лоно иной религии. Это обезумевшее дитя серебряного доллара, благословленное самой землей и отмеченное в порожденном ей огне.

Дитя, чье племя будто бы родилось от противоестественного ритуала. Дитя с ясными глазами и кипящей в них кровью; дитя с бескрайней душой, распахнутой и безгрешной, как прерии Саскачевана, где в лучах ослепительного солнца пылает хесперостипа.

Во лбу его горели тысячи солнц, в груди билась тысяча сердец, и зов его был зовом тысячи голосов. И полуголые языческого обличья мужи вокруг гогочущего мустанга прыгали и толкались, кричали и хохотали, и обращали к небу огрубевшие мозолистые ладони и обветренные лица, будто ждали, что некие высшие силы по прорицанию явятся на этот импровизированный амфитеатр для коронации и духовного пробуждения их, чтобы доверить их пьяной братии величайшую из тайн человеческих и господних.

– До смерти! До смерти!

Скандировала публика.

– Давай, сучий сын! Добей его!

И вздох разочарования прошелся в толпе, когда мустанг сбросил очередного всадника. Негр, возвышаясь среди них, вспоминал свою собственную молодость беглого раба, пересекшего границу конфедеративного штата и пополнившего своей безликой тенью зловонную армию северян, с которы-

ми плечом к плечу воевал, как воюют и пропадают волны в бесславных пучинах морских. Воевал, ходя по кровавой стране, где были рвы, словно братские могилы, устланные телами изувеченных солдат и лошадей, которых втоптывали в размокшую грязь. И был огонь и мерзость запустения, порох и смерть, и кровавые, покрытые выжженным бурьяном холмы, и облысевшая от войны земля, и ад крошечный посреди темноты в кроваво-красных вспышках над Аппоматокским судом, и сгорающие заживо солдаты, и обезглавленные капитаны.

А после войны негр скрылся далеко в жаркой, красной и безбожной мексиканской стране, где плясал с людьми в кабаках и с бешеными быками на триумфальных аренах в танце, который становился последним для людей и быков.

После он исчез и прозябал под печатью пещерных рисунков первобытного народа. В безжизненной пустыне, где царит бесконечная ночь, и мотыльки хлопчут у единственного источника света. Кроваво-красного коралла ночи.

Они летят к своей неминуемой гибели как языческие цари, ведомые притягательностью жара обещанной власти. Он странствовал по опустошенным краям и сделался единым с землей, чье раскаленное ядро стало сердцем негра. Ее плавящиеся горные породы стали его кровью, а солнце и луна – всевидящими глазами его. И воды мировых океанов были покрыты его кожей, и негр жил в тишине и во мраке долгие годы, ступая по камням и траве беззвучно и бесследно.

Ни орел, ни ястреб, ни ворон не замечали того, как негр жил, принимая роды у самой окровавленной матери земли. Его семья была повсюду, и негр не знал одиночества или скорби, любясь листопадами, ярко-красными как капли крови.

До сегодняшней ночи он не вспоминал прошлую жизнь невольника, беглеца и солдата, жизнь танцора и богатыря с горячей кровью и головой, что мог голыми мускулистыми руками, упершись пятками в песок, содрать кусок шкуры с живого быка. Нет, дни не всегда были коротки, а ночи не всегда долги. Все менялось стремительно как в пляске.

Он жил в лучах солнца, в огне, от которого расцветали травы, в запахе, источаемом омытой ливнями плодородной почвой. Они его семья, и он был родственным им по крови, по духу, бродя среди черепов с пустыми глазницами, наполовину увязнувших в песке, будто эти черепа и кости – древние руины храмов и церквей, памятники стародавнего порядка.

Он откапывал большие и белые отполированные ветром и песком черепа, будто принимал роды, а эти черепа – были новорожденными детьми самой матери земли, которых она производила из своей бездонной утробы.

Черными паучьими пальцами негр постукивал по полым костям, любясь пустым внутренним пространством черепов, похожих на купола. И пока эти артефакты нетронутыми покоились среди пустыни под солнцем, и ветер наполнял их жизнью и голосами, они пели хором на забытом язы-

ке мертвых подобно колоколам в церквях, большим и маленьким, пробужденным великим духом. И негр служил духу много-много лет, пока дух не послал ему сына, с которым они жили, как орлы. И пусть зимы были холодны, а огонь казался нарисованным замерзшей кровью на остывшем могильном камне, но лета были жарки, как солнце, а затем в их дом пришли ловцы орлов. На том все и завершилось.

Когда с выдохшимся мустангом наконец-то было покончено, то последний наездник повалился в пыль. Несчастное измученное животное издыхало в собственной остывающей ярости. Оно бессильно рухнуло на подогнувшихся ногах и, немедленно ловким ковбоем стреноженное, медленно теряло сознание среди тысяч и тысяч размытых и отчетливых следов копыт и сапог. И вялый живот его с хрипом подымался и со свистом опускался, и даже среди человеческого гомона негр мог слышать то нарастающее, то угасающее клокотание в желудке животного. Песок стелился по-новому у его вибрирующих ноздрей. Дыхание прерывалось и, казалось, что вот-вот мустанг испустит дух, словно побитый палками святой, претерпевший великие мучения во имя своей веры.

– Ножом по сердцу мне такое вот варварство, – сказал черноволосый мексиканец у негра за спиной. – Но парням как-то надо развлекаться.

Он стоял, сложив мускулистые руки на широкой груди и оттопырив локти, и в глазах его отражалось множество ог-

ней.

– Я ищу человека по имени Медвежий Капкан, – сказал негр, продолжая смотреть на издыхающего мустанга.

– А на кой черт он тебе, старик?

– Хочу говорить о моем сыне.

Черноволосый пожал плечами:

– А кто твой сын?

– Он убит от руки Красного Томагавка. И я ищу мужчину, который платит тысячу долларов за голову Красного Томагавка.

– Ты что, убил Красного Томагавка? – спросил черноволосый, и глаза его вспыхнули.

– Нет, но я убью, – ответил негр.

– Все так говорят. Но пока я его головы не видел.

– Увидишь. И очень скоро.

– Да?

– Я знаю, где он.

– Пойдем, папаша, в сторонку, потрындычим. Меня, к слову, Моррис зовут, но для приятелей моих – я просто Медвежий Капкан.

Черноволосый сопровождал негра через бивуак к реке, где опустился на колени, погрузил ладони в воду, пошевелил пальцами и ополоснул вспотевшее лицо.

– Оплакиваю в сердце своем и твою потерю, – сказал он.

Поднялся, отряхнул руки и вытянул из кармана штанов коробок спичек, коротко глянул на негра, вопросительно

вскинув бровь.

– Закуришь?

Негр не отозвался. Он задумчиво глядел на черную и блестящую, как смола, реку. Там, где изжелта-белые в лунном свете наносы перемещались по дну бесформенными масса-ми, муаровая поверхность воды меняла оттенок, то светлея, то темнея, то опять светлея.

На противоположном берегу, на фоне наспех нарисован-ных контуров леса, состоящего из смеси дубов и раkitника, он увидел оставленную лодку.

Пока черноволосый прикуривал, негр медленно поднял руку, держа указательным и большим пальцем золотую мо-нету. Странную и древнюю. С оттиском профиля языческого царя – который, казалось бы, оживал в отраженных отблес-ках лунного света.

– Ну что, старик, расскажешь мне, где Красный Томагавк?

– Вот, – сказал негр.

Черноволосый поглядел на монету.

– Не пойму, папаша, что это?

Негр изменился в лице:

– Возьми, это деньги.

– А зачем оно мне?

– Возьми.

– Похоже, древняя монета.

– Золото есть золото.

– Это мне? – спросил черноволосый.

– Это тебе, возьми ее.

Черноволосый покосился на монету, потом на негра.

– Для чего она мне, папаша?

– Не возьмешь?

– Не возьму. Как-то не хочется. Она не моя. Ты мне вроде бы собирался сказать, где Красный...

– Сперва возьми монету. Я дарю ее тебе.

– Слушай, старик. Я мужик суеверный. И чужое не возьму. Лучше бы тебе перестать действовать мне на нервы.

– Думаешь, это проклятое золото?

– Ну если ты так запел, то счастья от этой монеты не жди.

Чья она, кстати? Твоего сына?

Негр сунул монету в карман.

– Жизнь моего сына не принадлежит тебе. Она есть проклятое золото, а я – его проклятье, но ты хочешь взять жизнь моего сына. Беря ее, ты получаешь и проклятье. Ответь, чем монета хуже? На ней нет проклятья. Возьми ее, откажись от моего сына.

Черноволосый недоуменно поглядел на негра.

– Ты что несешь? Ты кто такой?

– Мой сын Красный Томагавк, – сказал негр. – В его жизни для тебя ценности нет, а в этой монете – она есть. Ее ты обменяешь на постель, на пищу, на блудную женщину. И Господь простит вам нищету вашу. И я прощу.

– Твой сын – Красный Томагавк?

– За голову Красного Томагавка ты обещал тысячу долла-

ров, и другие дети божьи соблазнились сим нечистым динарием. И за этот грех я превращу ваши праздники – в траур, а песни – в плач, и танец ваш будет на раскаленных углях и на черепах.

Черноволосый обронил папиросу и попытался вытащить из кобуры револьвер, но негр уверенно сократил дистанцию между ними. Они оба положили ладонь на оружие. Черноволосый пыхтел, боролся и попытался выстрелить – но курок сходил вхолостую, защемив грубую, как мозоль, складку кожи между указательным и большим пальцем негра. Он вытащил револьвер из кобуры, вскинул свободную руку и закатил черноволосому хлесткую оплеухину наотмашь. Черноволосый потерял равновесие и повалился на спину. Негр прильнул к нему, зажав его раскрывшийся рот и просунув между своих пальцев в горло Медвежьего Капкана револьверный ствол.

– Смерть, – скрипящим тихим голосом проговорил негр. – Смерть! В жизни нет ничего важнее смерти! И кому ты хочешь поручить свою? Пусть тела наши умрут – но я погибну на своем пути, а ты на чужом. Твой страх, я вижу его в глазах. Твое тело становится чужим тебе. Ты уже не его часть. Ты далеко и освободился. Ты ощущаешь свободу от всех тех тягостных вериг, которые на себе нес и о которых даже не подозревал. Мы сами себе враги, ты знал?

У черноволосого лился пот по лбу, и старый негр вцепился ему в душу своими безумными яростными глазами.

Мексиканец почувствовал ниже живота странное безволие и оцепенение, и судорогу, будто кто-то поймал его, как он ловил арканом диких мустангов – и теперь некогда бесстрашный мужчина ощутил бессилие и тошноту. На него снизошло осознание конца. словно его желудок как водянистый мешок с сокровенным содержимым, с сущностью его жизни, держат на ладони.

И достаточно было одного движения, чтобы произвести хирургическое изъятие его сердца, живота, печени, как в древности творили жуткие бездушные длинноволосые колдуны, просовывая свои черные костлявые руки сквозь плоть к самой сущности человеческой.

Черноволосый прыгающими глазами пытался всмотреться, будто ухватиться за обезображенное лицо негра, темное, равнодушное и испещренное морщинами, как у древнего вампира, в чьих жилах течет смесь песка и фараоновой крови.

Старик тенью простирался над черноволосым. Безликий, безносый. Глиняное творение искусных рук и чуждой эпохи. Длинноволосый назорей, чернокожий потомок Самсона, библейского судии, что воскрес из-под руин мерзостного филистимского капища и вознесся над гнилью, ступая босыми ступнями по позолоченной золе и бесплодному пеплу нового проклятого тысячелетия.

– Ты охотник на чужих сыновей. И ты именуешь себя отцом? Но ты не отец. Пусть мой сын не от твоей крови. Пусть

он не от твоего семени. Но это дитя – оно как ты. Подняв руку на сына человеческого, ты эту руку потерял, как и все, что было в тебе человеческого. Что творишь ты в мире? И по какому праву, я спрашиваю. За кого ты выдаешь себя? За чьего отца? Давая награду за голову одного сына чужим сыновьям, испорченным, как ты сам, ты сеешь смерть среди детей, но и пожнешь – смерть. И я – эта смерть. Твоя смерть. Этот путь – мое самопожертвование ради грядущих сыновей. А ты? Неужели жаждешь видеть, как сыновья твои становятся каннибалами и людоедствуют над плотью друг друга? Как можешь ты называться отцом, когда сердце твое – мертвая пасть льва.

Черноволосый прикусил ствол револьвера и зажмурился. Негр склонился к нему еще ближе:

– Мой сын, кого вы окрестили Красным Томагавком. Кровь на его руках, но его дела – чужды ему. Он повинен лишь в том, что изгнан с земли, где жил. И вы, что сотворили этот мир и его пути, не предложили моему сыну никакого другого пути, кроме пути насилия и крови. Вы не знаете иных путей. И мой сын принял ваш путь, пусть и не проложил его – но он пройдет его от начала и до конца. А в конце его буду ждать либо я, либо моя могила.

Черноволосый попытался что-то сказать.

Негр вытащил ствол револьвера у него изо рта, схватил мужчину за шею и предплечье и, брыкающегося, потащил по берегу. Они вошли в сопротивляющуюся воду, и негр, оку-

нув мексиканца за не имением подходящей в эту крещальную купель, смотрел в небо безрадостными глазами и монотонным пасторским голосом принялся вещать нараспев.

– Ты, кто натравливал сыновей на сыновей, мои руки – твое распятие. Ты, отец, который охотится на чужих сыновей. Почему охотится он на детей из собственного рода? Или он перестал быть человеком, а сделался зверем, охочим до плоти? Ты ешь Христову плоть, чтобы утолить земной голод. Ты пьешь Христову кровь, чтобы утолить земную жажду. Но это дела слепца! Ничто не может исчезнуть бесследно. Твои поступки оставили за собой кровавый след – и он привел меня к тебе. Ничто не бесследно. Ничто не исчезнет. Это невозможно. Я знаю. Те, кто охотятся, всегда преследуют дичь. Они идут и за мной.

Черноволосый провалился в удушающий мрак, почувствовал, как во всем теле пульсирует кровь, и стучит сердце. На поверхности реки лопались десятки бесцветных пенящихся пузырей, и мексиканец беспомощно бултыхался, словно дитя, новорожденное и еще не вступившее в обладание членами тела своего. Где-то совсем далеко, мерещилось, что в нездешних сферах творения, зажглись первые рассыпавшиеся искры. Медленно занималась кровавая заря, словно ее высекало кремнем одичавшее человеческое племя, которое самой ночи древнее.

– Эй! Что за... Черт! Все сюда! Парни, Морриса убивают! – крикнул вышедший к реке гнилозубый ковбой, выплю-

нув жеваный табак и обронив пустые ведра. Секунду промедлив, он потянулся к кобуре за револьвером, но увидел, что негр уже держит его на мушке. И тогда гнилозубый принялся стрелять от бедра, ребром ладони быстро-быстро застучал по спице курка, ставя его на взвод и почти одновременно спуская, и каждое его движение сопровождалось гремучим дымно-красным всполохом, а плюющийся пламенем ствол от такой стрелковой прыти брыкался не хуже мустанга. Пули разлетались во все стороны, что дробь на дальней дистанции. Вторая пуля из револьвера ковбоя влетела Моррису в ягодицу, но он уже был мертв и ничего не почувствовал, другие пули шлепали по реке как детские ладошки и всплескивали фонтанчики.

Негр выстрелил один раз.

Убил.

Выбросил оружие и, рассекая воду, принялся грести лопатовидными руками. Еще четверо мужчин, индеец, двое чернокожих и белый, шумным гуртом ввалились на берег, окруженный черно-синими стволами предрассветных деревьев. К ним присоединялись и новые стрелки. Звучали протяжные звуки стрельбы и зычные выкрики в прибрежном камыше.

Негр прыгнул в лодку, ножом перерезал швартов, и стремительное течение понесло его прочь к возобновляющейся равнине, куда, с винтовками наготове, высыпал карательный конный отряд полуголых после попойки скотоводческих детективов. Они немедленно открыли стрельбу.

Негр взял сверток, из которого торчал приклад; длинными руками раскатал рулон из толстой пряжи, поставил перед собой мушкет, будто рыцарь, ставящий меч и произносящий молитву перед смертным боем. Большие и ясные глаза его, как у стариков, что сохранили свой разум, глядели поверх реки, испещренной отсветами ранней зари. Паучьи пальцы тем временем проделывали крохотную работу. Он наполовину взвел курок, нашарил рукой коробочку с жестким чехольчиком, откуда извлек бумажный патрон. Надорвал бумагу стариковскими ногтями и отсыпал пороховую затравку на открытую полочку. Замкнул серебристую крышку и облизнул губы, продолжая разглядывать реку и преследующие его силуэты на равнине.

– Он там! Стреляйте! Стреляйте!

– Он Морриса убил!

Негр высыпал порох из бумажного патрона в ствол и, взяв шомпол, будто смычок, запыжил пулю, оторвав кусок ткани от своей старой одежды.

Яркие отсветы плясали на поверхности темной реки. Негр уперся в дно лодки коленом, прицелился из длинного, как шест для знамени, мушкета с кремневым замком и блестящим в отраженном свете ударником. Мушкет был уже старый, туго-натуго перемотанный пенькой у середины и по краям ствола, у казенника. Расшатанные шпильки изнашивались и не удерживали расщепленное ложе с потертым стволом.

Негр прицелился, только дыша и оставаясь глух к тому, что пули с треском прошибают края лодки. Медленно и неестественно, как мерцающие миражи на фоне металлического солнца, которое словно inferнальное существо выползло из своей окаменелой раковины, темные фигуры конников перемещались против ветра по вызолоченной равнине в сопровождении коротких вспышек. Негр выбрал мишень и спокойно выстрелил в первого. Спустя мгновение тот, как акробат, исполняющий сальто, вылетел из седла с пулей в горле.

Над вращающейся поверхности воды прокатился серебристо-серый дымок.

Крики затихали.

Река унесла лодку.

Отряд прекратил преследование, и негр опустил мушкет. Несколько часов он, сидя в изрешеченной пулями лодке, шел по течению реки и вслушивался в плеск блестящих волн. Мир медленно утопал в неестественно-темных сумерках, стало холодно. Негр погрузил лопасть длинного весла в воду, наблюдая за создаваемой им голубоватой пенящейся ватерлинией, а потом посмотрел на дно лодки, где плескалась багрово-красная речная пена. Он ощупал свои одежды, промокшие от крови, и подумал о своем названном сыне, чью мать давным-давно задушил.

Глава 13. Не оскудеет чаша их

Длиннолицый поправил шляпу, застопорил лошадь и сплюнул, равнодушно изучая бурые глинистые ножны обезвоженного ручья. Небо над головой сияло ярчайшим светом. Он потянул веревку, тронул лошадь шпорами. Сухо бряцала на ходу поклажа. Они направлялись через умирающую равнину сквозь заросли вейника вдоль рыхлого темно-коричневого крутогора, который плавно перетекал в ртутного оттенка пересохшую долину, где надувшуюся от безводья почву испестрял жесткий кракелюр.

По дну, текстурой напоминающему черепаший панцирь, стремительно перемещались гладкокожие ящерицы; перекатывались каплевидные ртутинки пауков с блестящими узорами на брюшке. Длиннолицый видел причудливых существ, что, увеличь их в тысячу раз, могли бы пожрать безродное человеческое племя. Он различал и каких-то непонятных, в спешке господом сотворенных каракатиц, которым пришлось долго приспособливаться к существованию в нелепом теле; видел муравьев-кочевников, что устрашали всякую тварь, как малую, так и большую, чудовищным видом своих отвратительных жвал и инструментов агрессии; слипшийся воздух дребезжал от перезвона крыльев грандиозных жуков и стрекоз, что парили зигзагообразными рывками и взирали на бесчисленных странников в русле мертвой

реки, как ангелы небесные за переселением народов. На коричнево-красном валуне восседал сфинксоподобный ящер, высывая красновато-белый от яда язык. И было тут множество существ, которым еще не дали имя, и они, как беженцы, стремились пересечь безводную реку с внушительным багажом, словно ища для себя лучшую жизнь на противоположном берегу.

И хотя длиннолицый с высоты своей лошади видел, что труды их напрасны – но, как и господь, не сказал им.

Облака по давнему обыкновению составлялись в бессвязные картины, подобно фантастической армии пестрых призраков, двигаясь вяло и многоцветно, складываясь перламутровыми слоями и образуя в неоднородном ландшафте то долины яркого света, то долины смертной тени.

Ошпаренный полуденным солнцем воздух в отдалении видоизменялся и рисовал миражи, вибрировал от высоких температур будто внутри колокола. Оба всадника пересекли прерию, следующий час продвигались по взбитой копытами тысяч стадных животных пенопластовой массе, что белее алебаstra и белее снега, белее убранств Христовых. После лошади вышли на жесткую почву, отстиранную порошками перемещаемого ветром мелкозернистого песка.

Толстокожие земли чужого полушария с их шлаками и крицами, словно сталь, выплавлены в непрерывном сварочном зное жарких древнеегипетских ночей и закалены тяжеловесными ударами молотов и киянок бизоньих копыт, и

пламенем войны иных народов.

Бесплодный грунт чередовался с запущенными пастбищами, поросшими переполевицей. Темные осинники, как копыеносцы, расположились вдоль холмов, погруженных в длинную тень.

С закатом всадники пересекли пространную равнину и продолжали путь, въехав в рощу мертвых кустарников и деревьев, стоявших голыми нагромождениями, словно окаменевшие богомольцы на коленях в храме. Полностью застывшие во времени. Неизменные, без единого намека на пробуждение от своей затянувшейся ектении, в которой они запытавали о прочем мире, о смерти, о жизни, предпочтя им одеревенение, оцепенение, которым целиком поглощены и которое уже не отпустит их никогда.

– Как нам до Христовой любви дорасти? – вслух проговорил длиннолицый, но взгляд его был отрешенным. – Как дорасти до любви Христовой? Когда в мире всякая морда паскудная на хороший кирпич так и напрашивается!

Холидей облизнул губы и всматривался в расплывающийся, бормочущий силуэт.

– Куда ни гляну, на что ни посмотрю, так меня ненависть и презрение до костей окатывает – как в кадку с ледяной водой погружают. Не могу очухаться... Кровь к лицу приливает. И сердце стучит лютым барабаном. Я словно Самсон среди филистимлян. Мне бы в руки череп ослиный, я бы их тысячу перебил! Я бы их десять тысяч перебил! Всех до единого – и

белых, и черных, и красных. Ненависть – ее я понимаю ясно, как день божий. Но любовь...

Длиннолицый рассмеялся и опять заговорил в каком-то полубреду:

– Не пойму, что это такое? Христова эта любовь – что она... Все это несправедливо! Ставить убогому, озлобленному человеку цель поравняться с Богом, с Человеком! Но ведь эту цель поставил человеку сам Бог. Это говорит мне о том, сколь высокие требования Он предъявил нам, сколь высоки были ожидания Его!

Холидей молчал.

– Но каковыми были ожидания Его? Я не пойму, я не могу понять, чего Он желал видеть от нас? Не пойму, как я прожил столь долго. Будто бы все во сне. Чужое тело, руки чужие. Но этот мир начал добираться до меня... Да, я это чувствую... Потихоньку добираться через кожу, через мясо, через жилы, через потроха процарапываться, как крыса, зубками и коготками. Они будто знают, чувствуют, как собаки, кто я такой есть в душе, и хотят, чтобы я предстал пред светом божьим. Они сами напрашиваются, богом клянусь! Сами просят меня их убить! Своими поступками просят и своими словами намекают. Порвать их на куски, перестрелять их, безбожников проклятых! Как бы я не старался отрешиться от рук и ног, от членов собственных, все напрасно. Они до меня доползают, подкапывают. Эта плоть до ужаса ненадежна, это плохая клетка для взбесившегося зверя, а я – есть

этот зверь.

Холидей, щурясь, глядел длиннолицему в затылок. Тот нервно почесывался, отплеывался, посмеивался и утирал вспотевшее от жары лицо.

– В священном писании я уже не нахожу покоя. Только я отвожу глаза от его страниц, как мир вновь погружается во тьму. И вокруг – эти лица. И мои руки тянутся к ним сами по себе. К их горлам, к их глазам, к их ушам, чтобы давить, давить, давить! И я знаю, что когда раздавлю их, когда их черепа будут проломлены – то я погружу руки в кровавое месиво, а когда подниму их, то на моих ладонях будут копошиться черви, смоченные кровью перепутанные комки червей, которые сожрали их мертвые мозги давным-давно. Да, они не люди. Они просто мясо. Мясо для псов, для волков. Христос! Христос! Христос! Помни, только размышлениями о Христе ты посеешь правильное семя. Я только и думаю, что о Христе – об его искупительной жертве, о духе Святом. Обо всем остальном думать не имеет смысла. Он – мой ориентир, мой светоч во мраке вечной ночи. Он – моя клетка, мой кнут и пряник! Мое поощрение и мое наказание...

Наемник снял шляпу и пригладил волосы.

– Эй, да тебе башку напекло. Ты свихнулся, приятель! – сказал ему Холидей. – Что за чертовщина вырывается из твоего проклятого рта?!

– Я давным-давно пытаюсь вообразить невообразимое. Как творение божье глазами творца выглядит? Не будь у нас

тел, не будь у нас глаз, ушей и чувств, не будь их... Каким является мир сам по себе? То, что мы глазами видим, есть ложь. Языческие тотемы вырастают перед глазами нашими как великий обман и игра, а вся эта материя – царствие дьявола. Мы ее видим глазами, слышим ушами, вдыхаем ноздрями. Но каково творение господне само по себе? Оно должно быть чем-то. Океаном, небом или царствием? Без наших глаз, без ушей, без тел...

Холидей с опаской поглядывал на тараторящего наемника, от чьего благоразумия теперь зависел остаток его жизни.

– Слышишь меня?! Пойди на риск и вообрази эту вещь – эту драгоценность, но ты будешь опечален. Сколько глаз, сколько ушей нарастили, сколько мяса? Но мы слепнем, становимся глухими и бесчувственными. И дьявол тут как тут, а мы у него на подтанцовке в большом кукольном театре. Мы связаны по рукам и ногам насилием. Его от нас унаследуют наши дети, а от них – их дети. Мы содомируем наших детей и оскотпляем их, а пути наши есть пути содомитов и скотоложцев, и евнухов, и... убийц.

Холидей рывкнул ему:

– Да заткнешься ты или нет, чтоб тебя?! Заткни пасть!

– Боже мой, прости! Но наших правнуков ждет новое Воскресение, новый Христос! Но прежде наш род обречен возвратиться к первобытному состоянию, полностью выродиться. И наскальная живопись грядущего тысячелетия знаменует новую эпоху возрождения человека дикого, его кровавого

ренессанса. И наши сыны восстанут из пепла для новой за-
ри. Да не оскудеет чаша их, да не оскудеет чаша их! Боже...
Аминь, аминь...

У длиннолицего будто прояснился взгляд, он оглянулся и
потянул веревку, один конец которой привязан к рожку его
седла, а другой – завершался петлей на шее Холидея.

– Ты свихнулся, чтоб тебя! – пробормотал тот. – Ты свих-
нулся окончательно со своей чертовой библией!

– Будь я на твоём месте, дружище, то начинал бы кре-
ститься и каяться. Это тебе моя добрая христианская реко-
мендация.

Холидей сплюнул:

– У меня к тебе, гад, свои предложения есть, – сказал он с
вызовом. – Давай по-мужски, старый добрый мордобой. Или
ты от одной мысли струсил? Да, я вижу, что ты слизняк бес-
хребетный, увалень мягкотелый! А если нет, то дай мне пи-
столет, если у тебя пороху хватит. И поглядим, чью сторону
господь займет. Быстро выясним, чью исповедь ему больше
хочется послушать. Твою или мою!

Длиннолицый глянул на него с ухмылкой и сплюнул, по-
хлопал ладонью по суме с амуницией.

– У меня пороху хоть отбавляй, а господь наш если бы
твою сторону занять хотел, то нас бы местами переставил.

Холидей ухмыльнулся:

– Думаешь, ты соль земли? С твоей апостольской осанкой,
бреднями умалишенного и ветхой книжонкой! Но я видел

землю, которую просолили. Это мертвая земля, где ничто не приживается. Думаешь, ты пророк и святой? Думаешь, ты станешь основателем новой религии, пока неотесанные дикари будут воздвигать во славу тебе монументальные мегалиты в жарких, как сама преисподняя, джунглях? А тело твое превратят в мумию, и будут память твою почитать? И дожидаться воскресения твоего через тысячу лет, когда примитивная твоя религия водрузит свои знамена над каждой отсыревшей пещерой? Нет, дружок... Всюду, куда движется братия гнилозубых твоих варваров-крестоносцев с хоругвями нового закона, там все умирает и становится цвета крови. Всюду воцаряется бесконечная засуха, насилие и смерть. Вы ее сеятели, и вы – ее жнецы!

Длиннолицый только улыбнулся:

– Плевать я хотел на закон, меня деньги интересуют. И за твою шкуру хорошая мера серебра мне в кормушку причитается – а другие пускай сами ищут, где им поклевать.

– Ошибаешься! – покачал головой Холидей. – Хотя, может, и деньги тебя интересуют, но больше – дело. В сердце твоем ненависть и ты ищешь вокруг только то, что ее поможет на свет божий вытащить. Тебе нужны крючья, нужно железо, потому что ты отрастил много ненависти. Кровавый ком.

Длиннолицый рассмеялся.

Холидей сплюнул:

– У тебя деньги мои? – спросил он. – Те, что вы прикар-

манили?

– У меня только мои деньги. Нет твоих денег. Ничего твоего не осталось на свете белом. Только петля да эшафот.

– Они моей сестре нужны, я дал ей слово.

– Вот пусть она слова твои на хлеб и мажет.

– Не все в мире на хлеб мажется, сучий ты сын!

– Дыхание побереги, вопиющий, ведь едва справляешься с тем, чтобы на коне усидеть, а мне только за веревку потянуть – и будешь остаток пути в пыли волочиться.

– Ну так потяни, потяни, потаскухин ты сын! Потому как иначе, престолом божиим клянусь, я буду неумолчно срамословить и богохульствовать – ушам не простишь, что мои слова слышал!

Длиннолицый спешил, приготовив свой револьвер, рывком сволочил Холидея с коня. Мужчина упал на спину и не сразу опомнился. Но когда в голове прояснилось, он увидел над собой оскалившегося и плюющего длиннолицего, который, выпрямившись высокорослой фигурой на фоне очерченного трепещущими верхушками осин неба, направил пистолет ему в лицо.

– Убью, гад!

– Убивай!

– И убью!

– Так убивай!

– Напросишься, сволочь! А?

Неожиданно длиннолицый вскинул пистолет и прицелил-

ся в сторону.

– Что за... А вы кто такие, мать вашу?!

Холидей запрокинул голову и закатил глаза, пытаясь разглядеть появившихся. Чернокожие и грязные, мужчины и женщины, повылезавшие отовсюду, будто прямо из земли. Одетые, во что бог послал, словно примеряли первую попавшуюся одежду. Кто в пиджаках и кардиганах, некоторые в непригодных обносках, женщины и выглядывающие у них из-за спин большеглазые, словно филины, дети в старьевках. Темнотелые фигуры в древних отороченных плащах, как задрапированные статуи, или в староцерковных платьях. Еще двое индейцев в перешитых под рубаху и раздутых от ветра мешках из-под муки с гротескным изображением коренного американца в перьевом венце и с длинной трубкой мира. Другие нагие, с растрепанными волосами и немытые. Истомящие вонь ожирелые и исхудавшие, до состояния скелетов, тела. Изношенные одежды, продушившиеся потом. Холидей перевернулся на живот, поднялся и остался стоять, пригнувшись, на коленях.

– Это, черт тебя дери, что за черти? – прошипел он.

– Молчать.

– Дай мне пистолет.

– Заткнись!

Две неопрятные негритянки с мужицкими руками, как колонны колизея, перепачканные в грязи или в крови, лепетали что-то невнятное и безумными светлыми глазами раз-

глядывали длиннолицего. Тот крутился со своим револьвером, слушая, как эти темнокожие существа, не похожие даже на людей, а на порождение нищеты, боли и праха земного, причитают и стонут, и поднимают и опускают головы, и плачут. С громадными своими глазищами и кривыми ртами, они выкрикивали, взывали, молились неясно кому, а некоторые рухнули в грязь, как умалишенные богопоклонники, поднимали руки и, переставляя колени и бормоча, с плачем ползли к напуганному длиннолицему, как бесноватые ко Христу.

Выглядела их орава словно нечестивые иноверцы, сгребаемые, как уголь, в большую адскую печь, какими их представляют христианские живописцы на эпических полотнах с изображением страшного суда божьего.

Чернокожий в испачканной рубаше заговорил человеческим языком, в напряженной мольбе обратившись к длиннолицему.

– Деньги, сэр. Деньги, сэр! – пробормотал он. – Монеты, сэр. Золото, серебро, сэр. Деньги, бог в помощь! На одеяла нада деньги. На еду нада деньги. На матрасы нада деньги. У нас ни серебра, ни бронзы.

– Уйди!

Длиннолицый огляделся по сторонам, презрительно сплюнул и револьвером, как экзорцист крестом, защищался от желтолицых, краснолицых, темнокожих, что демонически, как бесы, завывали с жуткими гримасами ужаса и непо-

нимания, и недоумения.

– Деньги!

– А взамен что?! – нервно спросил длиннолицый.

Чернокожий ответил:

– У нас ничего нет, сэр.

– А что есть?

– Ничего нет!

– Я дам вам, сколько есть – а вы оставите меня в покое.

Чернокожий поклялся ему, какими словами мог.

– Ладно, черт...

Длиннолицый, оглядываясь, пренебрежительно швырнул тощий кошель в эту толпу, чьи древнейшие родословные будто бы происходят не от духа святого, а от самой копоти небесной. Они напомнили ему фиолетовые, остекленевшие сплавленные обелиски, безобразные изваяния, громоздящиеся на бескрайних полях затвердевшей лавы, какие ему случилось видеть в Кордильерах.

Серебряные монеты рассыпались и, в различных положениях, застыли. Чернокожие человеческие фигуры, казавшиеся еще темнее, чем сожженный пепел, жужжа и сверкая на длиннолицего кроваво-желтыми порфиристыми глазами, тут же принялись ползать, паучьими пальцами выковыривая из земли все то, что, мерещилось, тускло блестит в лунном свете и кажется им высшим из даров божиих.

И пока одни скопищем рук и ног жадно перемешивали землю в поисках денег, другие фигуры опять украдкой при-

близилась к лошадям, черные как шахтеры.

– Эй, а ну уйди от моих лошадей! Пошел вон! И ты... Эй!

Индеец начал вытаскивать из чехла старую барабанную винтовку длиннолицего.

– Эй, вы! Руки прочь от моей винтовки, убью! – длиннолицый вскинул руку и выстрелил в воздух.

Повалил пороховой дым.

– Стой! – рявкнул Холидей. – Недоумок!

– Убью всех!

Те, что подкрадывались к длиннолицему сзади, набросились, схватили его за руку, повалили, принялись колоть его и полосовать ножами.

– Сукины дети!

Куртка наемника быстро начала темнеть и промокла от крови, но чудом он высвободил руку и выстрелил кому-то в лицо, разбрызгав мозги, а затем поднялся и, плюясь кровью, бросился наутек в образовавшуюся прореху в толпе.

– Чтоб тебя!

Холидей рванул к лошади длиннолицего, обезумело ревя и распугивая безоружную толпу. Подпрыгнул, попав ступней в стремя, плюясь по сторонам, обругивая чернокожих и хлестко клацая на них зубами. Закусил кожаный ремешок и тряхнул поводья, отталкиваясь на убыстряющемся лошадином ходу, перекинул другую ногу и неуклюже, едва не потеряв равновесие, расположился в седле, трясая головой и издавая протяжные звуки. Лошадь, стуча копытами и тяжело

дыша, вырвалась из объятий толпы и вынесла чудом спасшегося всадника к прерии.

Длиннолицый, спотыкаясь и утирая лицо, еще сильнее пачкая его кровью, пытался бежать, но мужчины быстро поравнялись с ним.

Он остановился, грозя им револьвером и бормоча слова:

– Ты – Бог мой! И тебя от ранней зари ищу я!

– Хватай, хватай его!

Он оскалился. Его револьвер дал осечку, и чернокожие мужчины воспользовались этим, чтобы наброситься. Затянулась чудовищная вакханалия, когда они принялись употреблять к верещащему длиннолицему ножи, а он трясущимися руками направлял свой пистолет то в одного, то в другого, и когда слышался выстрел, а когда – сухой щелчок. Лезвия ножей погружались ему живот легко и беспрепятственно как в растопленное масло, и чернокожие ловкими ручищами хватились за пистолет.

Длиннолицый, захлебываясь кровью, вытащил из себя один нож, сунул наугад в кучу полуголых мужчин, навалившихся на него; потом вытащил другой нож, и опять сунул наугад. Все гурьбой они суетились, стонали, остывающие, борющиеся тела, и длиннолицый пытался найти в этой суматохе свой оброненный револьвер, шаря рукой вслепую, но чьи-то зубы, крупные и влажные, впились ему в запястье, как в плоть Христову.

Длиннолицый отчаянно взвыл и саданул локтем индейца

по носу. Нос хрустнул и лопнул.

– Тебя жаждет... – сплевывая кровь, пробормотал он, едва ворочая языком, – тебя жаждет душа моя! По тебе томится плоть моя в земле пустой, безводной и иссохшей!

Запахавшись, они кромсали друг друга по лицам, кусались, царапались и плевались, не различая своих и чужих, словно длиннолицый стал участником дикой исступленной оргии; и он сам уже хватался за руки их, за головы их, словно они были некими прежде недоступными и невиданными объектами его неистовых желаний, а сам он – находился в благоухающем саду среди обнаженных женщин. Он поймал то одного за ногу, то другого ухватывал за руку, за горло, за рубаху.

Но вместо того, чтобы одарить их ласками, пытался напротив, душить, давить, пинать и кричал сдавленным полумертвым голосом, разбивая костяшки пальцев, кричал, что убьет всех.

Кто-то дотянулся до пистолета.

Прозвучал выстрел, и борьба продолжилась уже лениво и бессильно. Кусаясь и рыча, как сладострастные любовники, они схватились насмерть. Их бой напоминал празднование в честь бога виноделия, они пыхтели, а длиннолицый все бормотал:

– Хочу видеть силу и славу твою, как видел тебя во святилище! ибо милость твоя драгоценней, чем жизнь!

Перепачканные кровью, облепленные перьями, листьями,

пухом и черт знает чем еще, как пугала, с красно-желтыми тускнеющими глазами, они катались по земле, и постепенно речь длиннолицего затихала, а вскоре оборвалась, рот его стал твердым и сжатым, а в глазах появилось что-то стеклянное, застывшее, безжизненное.

Один из негров, мускулистый и широкоплечий, поднявшийся из грязи, будто родился в ней и вырос, и умрет, держа в ладони пресловутую пригоршню монет с отчеканенными лицами, словно это были праведные души в деснице божьей, в другой руке сжимал круглый камень, который с размаху хлестко приложил к затылку длиннолицего.

Камень мгновенно сделался окровавленным.

Негр прикладывал его затылку, поднимая и опуская руку, с упорством доисторического зверя, орудуя им до тех пор, пока вывалившееся, расплесканное и брызжущее из расколотой головы красно-коричневое содержимое не перемешалось с землей.

Глава 14. Смех человеческий

Холидей, безумными глазами вперившись в расступающуюся темноту, видел бесконечное пространство. Предметы творения вокруг казались ненастоящими, как монументальные поддуги и бесчисленные пратикабли, а пейзаж вдалеке – мерещился ему наспех нарисованной подделкой. Он не изменялся и не надвигался, и не отдалялся. Совершенно статичный и одномерный, будто бы колоссальный мираж какой-то чужой, чудесной и невозможной вымышленной страны.

Из бокового кармашка седельной сумки Холидей извлек нож и, аккуратно вращая запястьем, перерезал веревку, снял с шеи петлю и помассировал предплечья. Не вылезая из седла, он преодолел верхом несколько миль, скача по возможности напрямик, а затем борясь, как с застывшим морем, с набегаящим рельефом, сформированным наподобие раковины.

Все тут выглядело причудливо, словно сам бог, имитируя тектонические процессы, намеренно коробил и мял эту землю голыми мускулистыми руками, как бумагу, стараясь придать ей древний вид; с тысячей насыпей, произошедших от естественных условий вертюгаденами и поворотами вокруг волнообразных холмов, чьи силуэты вздымались и опадали, и опять вырисовывались в дымке, будто двигались вслед за

изнуренным всадником сквозь полосы стремительно меняющегося ландшафта.

Холидей не заметил, как ночь сменилась днем, а день – ночью. Он лежал без сна на твердой земле, а с рассветом вновь был в седле.

Порез неба с каплей крови солнца. Ящерка, изогнувшись на однобоком валуне, вскинула мордочку к пурпурной дали. Ее гладкое тельце дрожало в знойном воздухе, но когда Холидей моргнул, ящерицы и след простыл.

К полудню он уже пересекал территорию пространной лесосеки. До краев горизонта пни и вывороченные коряги, повсюду ковром лежали буро-черные шишки и кора, втоптан-ные сучья и придавленная трава. Облысевшая земля там, где стояли груженные телеги и примитивный бивуак; а где раньше лежали поваленные деревья, там остались на память длинные углубления и проплешины в потемневшей почве, похожие на древнеримский акведук. Повсюду стелились узорами мелкие камешки, чей незыблемый порядок нарушен; и хотя все тут, казалось, давным-давно застыло замысловатым рисунком, как трещины на озерном льду, но, если прислушаться, до сих пор можно различить звук, который мягкое покрывало из массы влажного валежника хранит и неизменно пробуждает в момент своей повторной смерти, заново ломаясь под тяжеловесной поступью лошади.

Пройдя лесосеку, Холидей услышал неподалеку короткую вспышку стрельбы. Мужские и женские крики.

Он повернул голову в направлении звуков и заметил над верхушками сосняка серебристо-черную ленту дыма. Из оружия у него остался только запасной револьвер длиннолицего с ореховой рукояткой, заряженный пятью патронами.

Холидей попробовал прицелиться в парящую белокрылую птицу, совмещая прицельную борозду с мушкой. Затем спрыгнул с лошади и, вцепившись ей в загривок, повел ее к сплошному сосняку, перемежающемуся светло-коричневыми прогалинами.

Холидей оставил лошадь и, на корточках, перемещаясь с оружием наготове и ориентируясь по звукам стрельбы, то стихающим, то повторно гремящим, пришел к небольшому охотничьему домику из кирпича, с блестящей на солнце черепичной крышей. Прилегающая к нему лужайка вмещала в себя множество разнообразной утвари.

Холидей заметил четверых, в шляпах, с патронташами, пересекающимися на груди, вооруженных ружьями, карабином и револьверами.

Темные фигуры в темных перепоясанных одеяниях, похожих на одеяния иезуитских миссионеров, а поверх – пропылившиеся пальто.

Один из них смеялся и перезаряжал кавалерийский шестизарядник.

Косоглазый юнец, прятавшийся за домом и оглядывающий трупы застреленных приятелей, выбросил свой револьвер и крикнул, что сдается.

Холидей увидел, как косоглазый поднял руки, в одной из которых держал шляпу, и, причитая, медленно направился в сторону стрелков.

– Не стреляйте! Я безоружный, не стреляйте, ради бога! Я не буду сопротивляться, кровью Христовой, во имя людей пролитой, клянусь! Не убивайте, я жить хочу, не убивайте. Я не стрелял в вас!

– На пузо падай, сучий сын! – скомандовал ему курильщик с папиросой в щербатом рту. – Кто еще тут с вами, отвечай!

Косоглазый распластался перед ними:

– Никого, клянусь! Только мы втроем, а я их образумить пытался!

Курильщик приблизился к дому и оповестил тех, кто внутри, что он представитель закона, а преступники обезврежены.

– Уйдите! – ответил ему женский голос.

– Не стреляйте, мэм! Я только хочу помочь, мое имя. Самуил Хардорфф. Со мной мои братья-иезуиты. А как вас зовут?

– Я сказала, уйдите, или я не ручаюсь за себя! Я буду стрелять, если вы хоть пальцем притронетесь к двери! Клянусь своей жизнью, первого, кто попытается войти – я уложу прямо там, где он стоит!

Курильщик отступил от дома и опустил карабин.

– Я вас услышал, мэм! Громко и ясно. Но прежде, чем

мы уйдем, мой долг как служителя путей, которые исповедует господь и закон, удостовериться, что вам не требуется помощь.

Спустя минуту-другую женщина отозвалась дрожащим от ярости голосом:

– Я благодарю вас, я искреннее благодарю, но эти нечестивые мерзавцы не успели до меня добраться! Кто бы вы ни были, я благодарю вас! Но у меня в руках ружье двенадцатого калибра. Оно заряжено, и я напугана и одновременно разозлена как ад! Эти богомерзкие сукины дети застрелили моего пса и пытались склонить меня к развратным действиям насильственным путем и угрозами! Но видит бог, что я благочестивая христианка и никогда бы не попала тело, дарованное мне господом, греховными утехами и страстями! Не вынуждайте меня защищаться, просто уйдите или, клянусь чреслами мадонны, я опустошу ружье в любого, кто сюда войдет!

– С минуты на минуту мы уйдем, мэм! – курильщик затаился и втоптал окурок в пыль. – И даю вам свое слово, вы нас не услышите, не увидите, не почувуете, и мы больше не доставим вам неприятностей! Но здесь пара-тройка трупов... И я подозреваю, что вы захотите в качестве компенсации оставить себе ценности и деньги, если таковые имеются у этих сукиных детей! И, видит господь, вы этого заслуживаете! До свиданья и всего наилучшего вам!

Он повернулся к приятелям, к трем иезуитским миссио-

нерам, как он сам.

– Вы трое – по коням, тут больше делать нечего.

– А с ним что? – спросил тип с кавалерийским шестизарядником.

– С нами пойдет. Отведем его подальше и казним за преступления.

Косоглазый посмотрел на них:

– Нет! Кровью Христовой молю, прошу по-христиански, как человек человека! Не убивайте, я жить хочу!

– Как человек человека?! Ты? Меня? – расхохотался тот, кто назвался Хардорффом. – Ты чертов насильник!

– Нет, умоляю!

– Поздно, парень.

Один из стрелков разрядил револьвер косоглазого и, держа патроны, из которых от трех остались стреляные гильзы, сказал: – Ты вроде кровью Христовой побожился, что в нас не стрелял.

– Я... я...

Они рассмеялись, когда гильзы посыпались на землю.

– Я... Умоляю, не нужно!

– Смирись, гад, потрать последние вздохи на покаяние! Твой путь на этой смертной и безнадежной земле подошел к своему завершению...

Косоглазый опустил голову, сгреб в ладони землю, швырнул им в глаза и вскочил, задыхаясь и бормоча. Опрометью помчался через лужайку.

Раздались выстрелы.

Пули со свистом влетали ему в затылок и спину, прорывая одежды, прошибали насквозь и вылетали в кроваво-красной дымке из груди и живота, выбрасывая наружу перемешанные внутренние органы и кровь.

Косоглазый мальчишка, умолявший о прощении еще секунду назад, а теперь наспигованный свинцом, с гримасой на обезображенном лице еще пытался ступить, но перепутал, на какую ногу и, не удержавшись, рухнул в пыль.

– Пора в путь.

Четверо расселись по коням, Хардорфф громко извинился перед запершейся в доме женщиной за предоставленные неудобства, и они уехали.

Холидей некоторое время выжидал, что будет дальше. Он увидел, как молодая женщина с ружьем в половину своего роста выглянула из охотничьего домика, приоткрыв дверь.

Двор был устлан трупами и залит кровью. Женщина была красивой, с длинными волосами, чумазым лицом, тонкой шеей, она напомнила Холидею его старшую сестру. Облизывая потрескавшиеся от жажды губы, он понаблюдал, как женщина опасно проходит по собственному двору, подходя к трупам, чтобы пнуть их, плюнуть и обругать.

Холидей умирал от жажды, во рту было сухо как в пустыне, но рисковать столкновением с разъяренной дамочкой он не хотел. Шанс получить заряд дроби был выше церковного шпиля, поэтому он обогнул дом стороной, стараясь держать

женщину в поле зрения; и когда она отошла далеко от домика, остановившись рядом с трупом застреленной собаки, Холидей прошмыгнул в приоткрытую дверь, быстро осмотрелся в поисках воды или хотя бы чего-нибудь съестного.

– Что за чертов бардак!

В доме царил беспорядок, и с порога Холидей зацепил ногой железный ковш, прогрохотавший по деревянному полу, на котором валялся еще один труп мужлана с раскученной грудью.

Застрелен из ружья.

– Кто здесь!?! – послышался голос женщины.

Холидей застыл.

– А ну выходи, ублюдок! Немедленно! Выходи!

Он выглянул в окно, но женщина осталась стоять в отдалении, не решаясь приблизиться. Он видел, что она направила ружье в сторону дома.

– Я не причиню вам вреда! – выкрикнул Холидей и, подумав, добавил. – Клянусь! Я приличный человек!

– Кем бы ты ни был, пошел прочь из моего дома! Я считаю до трех! Выходи! Немедленно! Один! Два..!

– Я просто хочу воды!

– Три!

– Я только хочу воды! Я умираю от жажды...

Холидей выглянул в окно, и тут же прогрохотал выстрел, затрещала стенка и посыпались осколки стекла. Он выругался, испугавшись, что те четверо могут услышать выстрел и

вернуться.

Переступая через разбросанные предметы – стулья стояли, стол был перевернут – он быстро прошел к другому окну и, открыв его, выпрыгнул с противоположной стороны дома, кинувшись прочь.

К вечеру Холидей очутился в небольшом городке, название которого недостойно упоминания хотя бы потому, что постоянно менялось; и к тому времени, как сии незаконные края минует очередное столетие, этот захолустный городишко сменит еще тысячу имен, и приходящие сюда и уходящие отсюда будут выдумывать для него соответствующие своим делам имена; и каждое из них будет запамätовано, не сумеет рассказать ни о чем.

В глаза Холидею бросился длинный и пронзающий небо кровоточивый шпиль недостроенной или достроенной, но наполовину разрушенной и разграбленной церкви, которая зияла пустотелыми внутренностями, отбрасывая с возвышенности, как проповедник, зловещую ажурную тень на паству напуганных однотипных деревянных домов и старых жилищ из кирпича-полуфабриката, смеси навоза и соломы. Холидей подозревал, что здешний народ выделан из той же материи, что и их дома.

По полупустым выметенным ветром улицам слонялась сонливая публика. На стенах деревянных домов волдырями облупливалась обесцветившаяся краска. Холидей проехал вдоль сквозной проржавевшей ограды, за которой мерзопа-

костным скелетом, словно это скелет овдовевшей невесты, просвечивала увитая мертвыми лозами полусгнившая беседка, выкрашенная лоснящимся в лучах вечернего солнца засохшим птичьим пометом.

Прислушиваясь к неразборчивым голосам и взвизгивающему щебетанию местных птиц, Холидей спешил и оставил бесхвостую лошадь длиннолицего привязанной к решетке на окне.

Погладил ее по морде и прошептал:

– Хорошая, спасла меня.

В набедренной повязке из лоскута грубой мануфактуры, прикрывающей срам, он вошел в лавку старьевщика. Запер за собой дверь и перевернул задом-наперед картонную табличку с надписью "МЫ ЗАКРЫТЫ".

Старьевщик, немолодой розовощекий и полнотелый мужчина в роскошной жилетке, проследил за телодвижениями одноухого бритоголового незнакомца, который спокойно приблизился к прилавку и шмякнул несколько пятидолларовых купюр и серебряных монет, попросив подобрать для него простенькую одежду, чтобы одеться, и какое-нибудь дешевое ружьишко, чтобы стреляло.

И хотя старьевщик в первую секунду поразмыслил направить незнакомца к портному за одежками и к оружейнику за ружьем, но не позволил себе произнести свои рекомендации вслух, а потому, предписав подождать, скрылся за перегородкой.

Холидей облокотился на прилавок и, мечтая поскорее добраться до питейного заведения в конце улицы, принялся разглядывать товары, а были здесь вещицы всевозможных толков, сортов и назначений. И пока розовощекий толстяк подбирал для своего покупателя плащ, тот заинтересованно разглядывал стоящий в дальнем углу помещения поблекший персидский ковер, напоминающий самокрутку, давно выцветшую и начиненную пылью вместо табака.

Он повернул голову и стал изучать репродукцию голгофского креста с удивительными подробностями и поразительную модель церкви в миниатюре, которая была выделала с тонким византийским мастерством, воспроизводящим достоверные детали. Среди пылящихся безделушек Холидей заметил еще множество любопытных вещиц, но вот уже полнотелый мужчина подозвал его и расстелил по прилавку, разглаживая вспотевшими ладонями, широкую и длинную одежду без воротника, с двумя парами застёжек и рукавами, в которую можно было облачиться как в плащ, а сверху положил простенькую безрукавку, штаны и старые туфли.

Пока Холидей переодевался, старьевщик принес ружье и положил на витрину, протерев сухой тряпкой какое-то пятнышко, а затем бросился описывать достоинства оружия, хотя Холидею было очевидно – это хлам. Приклад будто бы привинчен от другой, более древней модели ружья, длинноват и неудобен. Клеймо сбоку на восьмигранном стволе старательно спилили. Прицельная прорезь запылилась и мушка

отсутствовала. На потертой накладке у курка изображение хищного животного, по-видимому, лисы. Само ружье в бытность свою было кремневым, но местным оружейником переделано под капсюль. Над жерлом запальника насажена отливающая опалово-алюминиевыми оттенками фигурка наподобие раковинки моллюска с просверленным в ней своеобразным свищем с резьбой для ввинчивания наковаленки для разбивания капсюля.

Холидей взял ружье и прицелился.

Старьевщик кашлянул в кулак и нетерпеливо переступил с ноги на ногу.

– Бьет далеко? – спросил Холидей.

– На сотню ярдов! – перекрестился старьевщик.

– Хорошо. Но покажи-ка мне лучше дробовик, который у тебя под прилавком.

Когда Холидей вышел от старьевщика, то отвязал лошадь от оконной решетки и направился в питейное заведение.

К позднему вечеру начался ливень, и множество народу набилось в двухэтажную залу. Они снимали промокшие шляпы с голов и отряхивали их, смахивали с таких же промокших насквозь плащей приставшие капли воды и, рассаживаясь за столами, они шли, хлюпая промокнувшей обувкой; все как один были раздражены, словно у них общая беда написана на роду, который они делят и никому не хочется вытянуть для себя жребий более горький, чем у иного.

Одними из последних в мрачную прокуренную и вибри-

рующую от гула голосов залу вошли четверо, одетые как иезуитские миссионеры, при полном обмундировании, с портупелями и патронташами. Один из них с полупрозрачными халцедоновыми глазами. У другого теплые бронзовые кудри и жуткая включенная борода. Третий курил, а четвертый, который вошел с седлом на плече, направился к столу с одинокой зажженной свечой, где сидел Холидей.

– Тут не занято?

Холидей пожал плечами. Четвертый свистнул, и три миссионера, идя сквозь многоликую толпу, брали свободные стулья и, расставив вокруг стола, расположились для фараона.

– С нами? – спросил курильщик.

– У меня в карманах пусто, – ответил Холидей.

– Ясно. Кто тебе ухо отстрелил?

– Да так, никто. Один краснокожий мальчишка.

Курильщик посмотрел на него. Остальные поглядывали, как парень с халцедоновыми глазами перетасовывает колоду.

– И где теперь этот краснокожий?

– Бог знает где.

– Его, случаем, не Красным Томагавком зовут?

Холидей пожал плечами:

– Откуда мне знать? У него имя на лбу не выцарапано.

Курильщик принужденно посмеялся:

– Тебе посчастливилось, что оно и у тебя на лбу не выцарапано.

– А кто мне выщарапает? Ты и дружки твои?

Курильщик поднял руки и сделал удивленные глаза.

– Ты свои карты засветил, – сказал ему угрюмый иезуит.

Курильщик бросил карты и повернулся к Холидею.

– Мы ищем убийцу. Красного Томагавка. Слышал о нем?

– Минуту назад от тебя.

– А до меня?

– Не слышал. Удачи в поисках.

Холидей поднялся, но иезуит придержал его.

– У тебя зуб на индейцев?

– С чего ты взял?

– Один из них тебе ухо отстрелил.

– У меня много на кого зуб, только зубов осталось – по пальцам пересчитать, а ухо и вовсе одно.

– Но ты мог бы поспособствовать благому делу.

– Какому-такому делу?

Курильщик улыбнулся:

– Наше дело – карать преступников.

– Да я и сам, братец, не святой.

– Это не порок. Мы все далеки от святости.

– Допустим. И какой барыш мне с того?

– Станешь на путь праведный.

Холидей сдержал улыбку:

– Ну, праведный путь сам себя не пройдет. И грешнику и праведнику нужны хлеб да вода.

Они посмотрели на него. Курильщик сказал:

– Народ, кому мы покровительствуем и чьими заступниками являемся, сам определяет меру нашей награды. По доброй воле. Руки, по-моему, только у того опускаются, кому даяние в тягость.

– Немного запутанная философия для меня.

– Неужели?

– Да.

Курильщик спросил:

– Ты, брат мой, по-видимому, из других мест.

– Не бывает других мест.

– Пожалуй, не бывает, соглашусь с тобой. Ничего не изменилось, историю не перепишешь – это становится очевидным, когда смотришь на дела человеческие.

– Да?

– Да.

– Ну тебе виднее, должно быть.

– Дела не меняются. И старые истории повторяются и застывают в новых формах и именах, в новых увековеченных отливках, неминуемых прообразах грядущих повторений. Это было, это происходит сейчас и случится в будущем.

Повсюду.

– Даже в раю?

– Тем более там.

– Как скажешь.

– Но мир все равно большой.

Холидей утвердительно кивнул:

– И тесный.

Курильщик отклонился:

– Верно, сынок. Нам всем приходится сосуществовать друг с другом на клочке ничейной земли, где зло не дремлет.

– Если ты так говоришь.

– Говорю. Господь мой Иисус Христос призвал меня, дабы я узнал, что есть зло.

– И как, узнал?

– Узнал. Ибо оно инструмент, которым подчинили волю человеческую и превратили человека в невольника его собственных действий.

– Удобная философия.

– А это не философия, это факт. Оглянись вокруг, брат мой.

Холидей сделал вид, что огляделся, хотя едва ли увидел что-то.

– Зло сейчас здесь. Мы в самом сердце его. Оно в вертепах разврата, где слышится смех человеческий и куда мужчину влечет жажда крови, женщин и сокровищ. Скажи, брат мой. Когда мужчина радостен и смеется?

– В постели с красивой женщиной.

– Нет, не совсем...

– Когда напьется.

– Не всякий.

– Тогда понятия не имею.

– Когда он свободен! Но что есть, брат мой, его свобода?

Скажи.

– Тебе лучше знать, видимо.

– Это свобода творить беззаконие, блудодейство и непотребство. Эта свобода – грязь, которой наш род вымазал сердце свое. Они бунтуют, если отнять у них свободу творить зло безнаказанно. Но свободы нарушают заповеди божьи, кои есть благо и торжество. Но белый человек есть творение дьявола. Он безутешно несет с собой зло. Ему нужна в разгуле, пьянстве, в похотях и господстве. Белый род олицетворяет дела дьявола в мире. В службе дьяволу радости их и утешение их и спасение их от нищей доли.

Курильщик улыбнулся, обведя залу рукой. Люди смеялись. Улыбались. Выпивали. Говорили.

– Но дьявол – есть справедливость господня. И только господь творит справедливость и воздаяние. И никому не дано взять на себя дело справедливости его. Даже белому роду.

– Да ты, милоч, ведь и сам белее мела будешь.

– Буду, кто спорит? Но я не служу дьяволу, а Христу.

– Закончил проповедь? Я уже могу идти?

– Куда? Там дождь.

– За другой столик.

– А чем тебе не нравится наше общество?

– Это не общество, это корыто для свиней.

Иезуиты угрюмо глянули на Холидея, но курильщик улыбнулся:

– Ты не прав. Мы служим любви божьей, ибо она – для

людей. Но не отмщение. В том есть запрет бога. Господь не желает, чтобы дьявола воспринимали как его самого, а иначе – люди ужаснутся ему, и величию его отмщения. И путь к спасению их будет утрачен вовеки. Ибо господь не есть лишь любовь. Но то, кто он – это его личное дело, а дело наше – есть только любовь.

– Постараюсь запомнить хотя бы до завтра.

Холидей поднялся, но курильщик схватил его за руку:

– Для нас Он только любовь, и упаси господь нас от познания гнева его.

– Убрал руку!

Курильщик поднял руки и проследовал за Холидеем к барной стойке.

– Чего ты хочешь своим детям?

– У меня нет детей.

– Будут. Знаешь, чего хотят проповедники?

– Виски.

– Нет.

– Бармен, виски!

Курильщик улыбнулся:

– Чего хотят все?

– Дай угадаю. Войны?

– Ты прав.

Бармен поставил стакан, Холидей осушил его. Люди смеялись. Иезуиты за столом обменивались картами.

– Посмотри на них. Они вооружаются и завоевывают, они

стекаются как пилигримы туда, где нет Христа.

- Где-то я это уже слышал.
- Должно быть, от разумного человека.
- Скорее от сумасшедшего.
- Нет сумасшедших. Есть только...

Курильщик сделал размашистый жест ладонью.

– Тебя нет, только отцы, что порождают тебя. И дети, которых порождаешь ты. И не дай нам Бог дурных отцов. И не дай нам Бог породить дурных детей. Это порочный круг инцеста. Грехи. Вот истинные отцы наши и дети. И те, кто тянутся к зову свободы, идут к своей смерти. Только лишь господь обладает истинной недостижимой нам свободой. Глупо равняться ему.

– А кто сказал, что я равняюсь, выпив стакан виски?

– А разве нет?

– Думаешь, бог стоит здесь за барной стойкой? Может, он заплатит за мою порцию?

– Дело не в этом. Ты делаешь ставку на скоропреходящие блага. Для плоти.

– О, это больше для души.

Курильщик посмотрел на Холидея и сказал:

– Бармен, виски!

– Забавно.

– Почему же?

– А как же борьба с дьяволом?

– Борясь с дьяволом – мы боремся с богом, – улыбнулся

мужчина. – Но ему нравится эта игра. Ей он удостоверяется в нашей закалке.

Холидей спросил:

– Не пойму, какими благими делами я твою проповедь заслужил?

Курильщик пошарил по карманам пальто и вытащил коробок, потряс его у самого уха и удовлетворенно кивнул, услышав одинокий обнадеживающий шорох. Взял последнюю спичку и чиркнул воспламеняющейся головкой о полосу мелкозернистого минерала. Заслоня ладонью, поднес огонек к сигарке, которую пожевал обветренными губами, зажег ее, тряхнул рукой и выбросил почерневшую спичку в плевальную урну. Бармен как раз поставил ему стакан.

– Как твое имя, сынок?

– Оуэн.

– А последнее имя?

– Холидей.

– Воистину библейское имя. Мое имя отец Самуил Хардорфф, а эти трое – есть Старший Брат, Средний Брат и Младший Брат. А что по твоему вопросу. Вот ты мне и скажи, брат мой, какие благие дела за тобой?

– Никаких.

– Разве?

– А о чем, собственно, речь? О том, что я делал, или чего не делал?

– Хитро.

Хардорфф выпил и продолжил:

– Но я скажу так. Видит господь, что в тебе нет жажды ложной свободы. Я вижу в тебе скорбь. Ты желаешь сложить оружие, но не имеешь возможности.

Холидей пожал плечами.

Хардорфф подмигнул ему и вопросительно вскинул бровь:

– Ведь я прав?

– Может, и прав. Оружие я сложить хочу, но не могу. Иначе меня просто убьют.

– И кто же?

– А тебе оно зачем?

– Может, я чем подсоблю.

– Сомневаюсь.

– Испытай меня.

– Если настаиваешь... В общем, по мою шкуру карательный отряд идет.

– Кто?

– Федеральный маршал, тот еще сучий сын и мерзавец, нос у него переломан и губа как у утки, а сам до пыток охоч.

– Знавал таких.

– Ты погоди, это еще не все. С ним ковбой, он-то меткий стрелок, когда до убийства женщин доходит.

– Вот как?

– Да, сэр, на моих глазах хладнокровно застрелил одну. Она беременная была.

Хардорфф слегка изменился в лице.

– Да, сэр. В живот ей выстрелил в упор из винчестера своего и на этом не остановился. Вспорол ей ножом живот, а нерожденного ребенка выволочил за ноги – голову ему о камни расшиб, что твою тыкву, а потом бахвалился всю дорогу.

Хардорфф опустился на стул и позвал бармена:

– Налей еще чертового виски!

– Другой ее мужа застрелил, но он и сам уже, наверное, покойник. Я от них сбежал. Но самое интересное вот что, индеец ваш с ними заодно.

Хардорфф произнес:

– Любопытная история. Так и было?

– Клянусь.

– Чем?

– Пусть руку потеряю, если вру. Свидетелем и жертвой был их преступлений. Ты в правило око за око, веришь?

– А как же иначе.

Холидей помолчал, потом сказал:

– Если долг есть, то с тебя, как пить дать, взыщется. Веришь ты в такое?

– Верю.

– Вот и я верю. Я должен заканчивать то, что начато. Даже если оно начато не мной. И зарекся я врагам своим, что свои долги им красным цветом выплачу, и я много обид на кого затаил, и некоторые дела оставил до конца не доведенными.

Потому я жду.

– Чего ждешь?

– Сам не знаю...

– Тогда зачем ждать?

– Не знаю... Черт! Да я по таким местам мальцом слонялся, где и слова такого отродясь не слышали – закон! Мой дед только пытался мне ум-разум втолковать. Но что это дало? Ты этим лиходеям слово, а они тебе – пулю в затылок или нож в сердце, пока спишь.

– Таков человек.

– И вот я из их среды вышел, по-другому жить не научен. Поймали меня за мои дела в чужих краях, отдали в тамошний суд, черным по белому растолковали, что и почему, а потом выпроводили. Но, видать, кого-то такой расклад карт не удовлетворил. Скажи-ка, брат, это, по-твоему, правосудие?

Хардорфф сочувственно покивал и, переставив ноги, слегка наклонился, чтобы произнести какие-то слова, но в помещение под звуки ветра, взметающего морось, ворвался мальчишка с бесцветным худощавым лицом. Придержал свою шляпу и, задыхаясь, пробормотал:

– Солдаты форта только что вздернули негра! Того самого, что четыре дня назад перестрелял дюжину ковбоев и утопил Медвежьего Капкана!

– За мной.

Хардорфф дал знак братьям иезуитам сниматься с места. Младший Брат сгреб карты.

Миссионеры надели шляпы, взяли ружья и винтовки, стоящие у стола. Холидей, не задумываясь, примкнул к ним и прочему народу, который теперь оживился и многоголосой и многоликой гурьбой высыпал под морось в светлеющую темноту.

На фабрике темно-фиолетового неба сходили с конвейера причудливой формы облака и заполняли дальние оконечности мерцающего горизонта.

Когда самозванные иезуиты с новоиспеченным братом вслед за толкающей, суетящейся и бранящейся толпой прошли к торговому форту, то увидели, что за неимением пригодного для этой цели эшафота солдаты на пятнадцатифутовом флагштоке вздернули вымаранный кровью труп высокорослого, молодого и мускулистого негра, с синевато-черной кожей и каким-то мешочком на шее.

Он болтался на веревке, скрестив ноги, а над ним, пикируя и взмывая ввысь, тяжеловесно кружили и хрипло восклицали чайки.

– Интересно, что у него за мешок? – спросил Холидей равнодушно.

– В нем были серебряные монеты. Должно быть, ограбил кого-то. Мы оставили ему их... Может, купит себе место в раю. Настоящий зверь.

Холидей прищурился:

– Монеты, говоришь.

– У него в руках был окровавленный камень. С чьими-то

мозгами. Мы сразу поняли, кто он такой...

– И кто же?

– Убийца.

Харддорфф впился пальцами в локоть Холидея и, наклонившись, громко прошептал ему на ухо:

– Лучше на них посмотри. Они довольны. Это зрелище есть пища и блаженство для народа – как дух святой для праведников. Это их кровавый хлеб. Хлеб, который они обмакивали в причастной чаше, но в чаше той – кровь Христа, а не вино. И хлеб их – это не хлеб, но он есть один из членов Христовых.

– Живая плоть, – буркнул Старший Брат.

– Мертвая плоть, – хохотнул Младший Брат.

– Полюбуйся на плоды нашего труда. Это есть справедливость и правосудие? Народ лицезрит их, но их понимание содеянного нами превратно. Для них правосудие – есть прилюдное поправление и их участие в правосудии. Они взирают на преступника, но думают, будто бы он наказан за то, что отличается от них своими деяниями и мыслями. Но он не отличается. Они думают, что защищены до тех пор, пока отличаются от него – но они не защищены. Просто не поняли этого. Холидей спросил:

– Не пойму я, что ты опять втолковать мне пытаешься? Ты прямыми словами говори, а не аз есмь. Я в вашей казуистике не подкован и не особо рад, когда меня вокруг пальца водят, да еще и не пойми, ради какого приварка.

Хардорфф оглядел своих братьев иезуитов, которые, стоя под дождем серыми бесцветными фигурами, улыбались и переглядывались, а потом опять повернулся с хитрыми глазами и лукавой ухмылкой к Холидею.

– Я твоей верой и историей, брат, проникнулся. Проникнись и ты нашей верой. Мы поможем тебе на твоём пути, а ты – помоги нам на нашем.

Глава 15. Ты держишь в руках камень

Впятером они переждали ночь в форте, а за час до рассвета пустились в путь по неожиданной инициативе курильщика. Холидей отправился с ними. Вдалеке, как сказочный великан, по краю зримого мироздания ступал грозовой фронт, размахивая своей черной дубиной и сшибая остывшие звезды с их предрассветных насестов. Они исчезали с пастозного неба десятками и сотнями одновременно, словно бы жаждущие люди сгребали эти гаснущие светила холодными руками, как угли, которые источали волшебный жар чужих миров, чтобы им согреться.

Надвинув шляпу на затылок и дымя извечной сигаркой, Хардорфф вглядывался в то, как меняются далекие контуры земли на фоне озаренного грозами неба, в чьей ярости истинным священнодействием оживали незабвенные побоища минувших веков.

Всадники рысцой скакали до восхода солнца, оставаясь в молчании, окруженные душной и таинственной темнотой. Курильщик поднес спичку к очередной сигарке и, закурив, любовался неопикуемой чернотой неба и мистическим зно-ем в безветренном воздухе.

С рассветом очертились тени мужчин, восседающих на

лошадях и, как закабаленные души мытарей, скользили и переливались в раскачивающейся траве. Было слышно, как суетится в зарослях неведомое зверье, непонятно чем движимое.

Хардорфф заговорил, будто задавая вопрос, но не ожидая ответа:

– Когда ты, брат, смотришь на камень, то что ты видишь? А когда смотришь на палку, что ты видишь? Когда держишь в руках священное писание, ощущаешь ли ты, что держишь в руках камень? Окровавленный камень. Тяжелый камень. С глазами, которые жмурятся от удара. Камень со злым лицом.

С каждым произнесенным словом он оскаливался, и у Холидея от его бесовской улыбки заструился по спине холодный пот.

– Ты из тех, кто отказывается покидать темную и сырую пещеру? Пещеру первобытных умов своих? Или ты не один из них?

Холидей старался не вслушиваться.

– Я говорю тебе, брат, господь не простит. Он не простит тех, кому он доверил слово свое. Слово божье. Тому, кто стругает копья и строит хижины из костей на черепах человеческих – тому нельзя верить слово божье. Ибо они сотворят из него то, что сотворят из остального. Свое оружие. И господь не простит их. Они вырежут ножами слова на заостренных палках и кровью выкрасят камни. Они будут колоть черепа и дробить кости. Какова цена их правоты и их суда?

Нет, брат мой, эти дикари держат в руках священное писание и думают, что это – их оружие.

Холидей сплюнул:

– Куда ты нас ведешь, пророк?

– Наше дело, брат мой, поймать и призвать к правосудию убийцу мужей и жен, кого называют Красным Томагавком.

– А я думал, ваше дело памятовать о боге и следовать заповедям блаженства.

Хардорфф расхохотался:

– Тут ты прав. Но условие таково: ты помогаешь нам в нашем деле, а мы обязуемся помочь тебе в твоём...

– Интересно знать, что ты подразумеваешь под помощью?

Выплюнув сигарку, он улыбнулся:

– Готовность пойти на взвешенный риск.

– Я готов, – угрюмо ответил Холидей. – Но до тех пор, пока риски равновелики для всех.

– Хорошо, брат мой. Хорошо. Рад это слышать. И поверь, так и есть. Риски для всех равновелики вплоть до последнего цента.

– Ты мне не ответил, куда мы торопимся?

– Мой скаут выследил, где Красный Томагавк. Ночью я получил телеграмму. Он в гостевом доме на железнодорожной станции. С ним белый. Оба хорошо вооружены. Они задержатся там на время. Дальше спастись им некуда. Вокруг давным-давно протянута колючая проволока цивилизованного мира, брат мой, где подобные им не проживут и дня.

Холидей усмехнулся и безразлично пожал плечами:

– Думаешь, твой Красный Томагавк и индеец, который отстрелил мне ухо, один и тот же человек?

Харддорфф улыбнулся. Профиль его лица очерчивался в зыбком воздухе.

– Я так не думаю. Не совсем. Красный Томагавк, – сказал он, – это просто символ. Крест христианства такой же символ. Красный Томагавк – это сам дьявол. Наш скаут не понимает этой простой идеи. Он чужак, но работу свою делает. Красный Томагавк нисходит на человека подобно духу святому, но одежды его – окрашиваются кровью. Всякий, кто творит злодеяния... становится для нас Красным Томагавком. Он есть отец тысячи сыновей и убийца тысячи отцов. Он есть куда более воплощенное божество, зримый и устрашающий. Он есть живое оружие – томагавк дьявола, но дьявол – это Бог, ибо дьявол существует и творит дела свои с позволения Его. Нельзя о том запомнить. Потому побереги свой страх перед дьяволом для Бога, ибо он тот единственный и неповторимый, кого нам надо бояться.

Холидей спросил:

– И за кем мы охотимся? За чертовым призраком?

Харддорфф широко улыбнулся и повернулся к Холидею.

– Не за призраком. Нам платят за другое. Наш враг состоит из плоти и крови, как и мы. Ты можешь наблюдать его красные дела повсюду. Или я ошибаюсь?

– У нас у всех руки по локоть в крови.

– Тут ты прав. Мы сходимся в большой игре. Но это не больше, чем игра. Красный Томагавк отмечает для нас достойного врага, а мы – идем за ним. Но наш враг есть плоть, кровь и дела.

– Как скажешь.

– И еще.

– Что?

– Запомни наше первое и единственное правило. Не начинать диалог, пока преследуемый не объявит о своей капитуляции.

Холидей молча покачал головой и отвернулся.

Вскачь они пересекли, следуя вдоль железнодорожных путей Нортерн-Пасифик, залитую солнцем аквамариную прерию. Местность приходила в постепенное запустение от соприкосновения с цивилизованным миром и была отмечена телеграфными столбами, похожими на безликие кладбищенские кресты, словно в этом безлюдном, когда-то царственном и продуваемом ветрами краю по известной им одной закономерности хоронили своих исполинских прародителей их обмельчавшие потомки. Все вокруг, что на земле, что в воздухе, как сложная мозаика, было составлено из тщательно прилаженных друг к другу объемных светотеней, чей изменяющийся узор приходил в соответствие с течением серебристо-серых облаков в бесцветном небе.

Не успело распогодиться, как всадники оказались под проливным дождем в полной темноте. Они промокли до нит-

ки, а некоторые из них с удивлением глазели на зажигающиеся в окнах свечи и лампы в витринах магазинов. Яркие и праздничные, как в сочельник, а ливень шпарил сплошной стеной по крышам и стенам невидимых домов.

Впятером они остановились у обветшалой гостиницы, взяли сумки и оружие, отряхнули шляпы и вошли в дверь, которую держал для них приоткрытой Хардорфф. Следом за ними, отсморгнувшись, вошел и он сам.

Внутри стены залы были выбелены полопавшейся штукатуркой, а на их фоне ожившей фреской толпился народ. Белые и серые, пыльные и угрюмые, словно их лепили из глины и извести неведомые праведнику божества, и теперь эта публика собралась здесь для всенощного бдения, став некой моделью для иконографического сюжета, в котором недоставало разве что богоматери с покровом в руках.

Хардорфф отыскал в многолюдном собрании хозяина гостиницы, грубоватой наружности мужчину с обескровленным лицом, и расспросил его о недавних постояльцах, среди которых мог быть представитель коренных американских народов.

– Краснокожий, что ли? – спросил хозяин.

– Пусть краснокожий, – сказал Хардорфф.

– Был один, – неохотно ответил хозяин.

– А с ним кто?

– С ним еще двое. Здоровый мужик и тощий такой кривозубый паренек с крупнокалиберным ружьем на бизонов.

И еще младенец грудной.

Хардорфф сдвинул брови:

– Младенец?

– Да, сэр.

– А где он сейчас? С ними?

– Нет, у доктора.

– У доктора?

– Захворал малец. Лихорадка вроде. Одному богу известно, будет он жить или нет. Со дня на день выяснится.

Хардорфф не сдержал улыбку:

– А доктор ваш, он где живет? В городе?

– Нет. У него здесь аптека своя, но сам он живет у озера неподалеку. В своем ремесле он виртуоз.

Хардорфф отвел хозяина гостиницы в сторонку, придерживая за локоть:

– Краснокожий, которого я и мои компаньоны ищем, опасный преступник, за чью голову комитет бдительности выплатит внушительную сумму.

– Это какую же?

Иезуит почмокал губами и задумался:

– Допустим, четыре тысячи долларов...

Хозяин открыл рот:

– Четыре...

– Тысячи. Из которых, сэр, я выделю вам ровно половину на то, чтобы отреставрировать ваше первоклассное заведение, когда мы закончим нашу работу...

Мужчина, моргнув, осмысливал какое-то время его слова:

– Простите, что?

– Вы все поняли. Или же распорядитесь этой суммой по вашему благоразумному соображению и переселитесь в более спокойные и менее отдаленные края.

Мужчина сглотнул, когда Харддорфф похлопал его тяжелой ладонью по щеке:

– Вот и славно. Я и мои храбрые компаньоны готовы взять на себя черную работу, сэр, а от вас потребуется только сказать мне, в каком номере разместились беглецы...

Хозяин замычал что-то невразумительное, но иезуит смотрел ему прямо в глаза, а твердые пальцы скользнули со щеки на плечо.

– Один из них сейчас принимает ванну в номере, – пробормотал хозяин. – Просил ему кипятка подлить.

– Благодарю за понимание! Мы дадим ему прикурить, а вы... будьте любезны сопроводить, – Харддорфф торопливо-небрежным жестом указал на столпившийся народ, – этих многоуважаемых леди и джентльменов к выходу.

– Но там же дождь...

– Только без шума.

– Понял.

Иезуит подошел к Холидею и трем братьями, стоявшим у лестницы.

– Где твой скаут? – спросил Холидей.

Харддорфф нашептал что-то одному из братьев, а потом

улыбнулся:

– Вот сейчас и выясним. За мной.

Холидей последовал за ним вверх по ступенькам и оглянулся, заметив, что трое иезуитов не следуют за ними:

– А они чего ждут?

– Они не ждут, они готовятся. Стой...

Поднявшись по лестнице, Хардорфф придержал Холидея ладонью, а сам заглянул в пустой коридор.

– Что?

– Ничего, просто проверяю. Готов?

– Готов. Которая дверь?

– В конце коридора слева, – жестом показал Хардорфф.

– Пойдем.

– Нет.

– Почему?

Иезуит приготовил свой карабин:

– Теперь наша очередь ждать.

– Чего ждать?

– Увидишь. Главное будь готов к стрельбе. Сейчас мы их выкурим.

Трое братьев прошли коридорами и постучались в комнату этажом ниже номера, где остановились разыскиваемые.

– Кто там?

– Обслуживание номеров! Сверху на шум жалуются. Открывай!

Когда заспанный мужчина в исподнем открыл им, они, не

проронив ни слова, поочередно вошли с револьверами наголо, расположились по углам и, игнорируя суету неряшливого толстячка, вскинули руки вверх и принялись избирательно стрелять в потолок. Они не слышали гомон и топот толпы, покидающей гостиницу.

– Твою... это еще что? – спросил Холидей, оглядываясь.

Хардорфф коротко ответил:

– Методы.

Один за другим гроыхали выстрелы. Пули прорывались через дощатый потолок. Сверху доносились перекрикивающиеся голоса. Братья продолжали стрелять. Затем сильно сбавили темп и попеременно делали один прицельный выстрел за другим, ориентируясь по звукам топота и тому, как перебиваются тенями новые просветы в потолке, заряжали следующий патрон и вновь стреляли, пока вся комната, где они втроем находились, не наполнилась дымом снизу доверху, что сделалось им невозможным даже рассмотреть друг друга. От тяжелых шагов сверху сыпалась тонкими струйками смесь песка и пыли, тут и там, отовсюду, и протекала сквозь многочисленные пулевые отверстия теплая смешанная с кровью вода из простреленного купального резервуара.

Стрелки наблюдали, как на простыни кровати в номере толстяка лилась кровавая пузырящаяся лужица.

– Кажется, кого-то подстрелили, – рассмеялся парень с холодными халцедоновыми глазами.

– Пусть еще попляшут!

Старший брат нацелил свой кавалерийский шестизарядник, вслушиваясь в пульсирующую тишину над ними, пока средний и младший братья сменили револьверы на ружья.

– Давай!

Раздались выстрелы.

В полу появились крупные рваные дыры от дробы.

Хардорфф на втором этаже глядел в коридор и ждал, не выскочит ли кто из комнаты.

– Вы даже не знаете, в кого стреляли! – рывкнул Холидей.

– Сомнения – от дьявола.

– Черт... С ними же был ребенок!

– Я знаю. Тихо!

Хардорфф услышал грохот. Это опрокинулась ванная, и через проделанные пулями дыры полилась вода в комнату на первом этаже, где трое вооруженных братьев застыли в неподвижности как окаменелые статуи стражей в пропыленном склепе. Вода с шорохом струилась на поля и тульи их шляп. Отверстия в потолке стали темнеть снопами.

– Матрац, мать твою! Одежду! Одеяла! – послышался голос сверху. – Все на пол!

Младший брат ухмыльнулся уголком губ:

– Сдавайтесь! Хуже будет! Матрацы не помогут!

Хардорфф по обозначившейся полоске света на противоположной стене увидел, что в конце коридора со скрипом приоткрылась дверь, а затем открылась полностью, и из дверного проема с рокотом выдвинулся бренчащий комод,

за которым прятались двое стрелков.

– Ублюдки! Убью! – крикнул знакомый Холидею голос.

На мгновение застывшую тишину прервал единогласный грохот разнородных выстрелов, коротких и отрывистых, будто неожиданно прозревшие от слепоты дуэлянты увидели один другого и принялись стрелять с роковым опозданием. Хардорфф выстрелил из карабина пулей, которая была глаже отшлифованной пуговицы и зазвенела в плече одного из стрелков, пройдя навывлет и подняв у него за спиной известковую пыль.

– Черт!

Холидей, отвернувшись от брызг засохшей краски, не глядя саданул из своей двустволки. В обоих концах задымленного коридора послышался отчетливый треск расщипленной древесины. Осыпалась с потолка и стен штукатурка. Загудел и завибрировал расщепленный комод, принявший на себя хлесткий удар свинцовой дроби, а трое братьев в несколько прыжков уже одолели лестницу и присоединили свои ружья к канонаде, хотя ничего нельзя было разглядеть из-за жуткого дымовала.

Холидей взвыл:

– Твою мать! Мой глаз!

Послышались запоздалые дымные раскаты ружейных выстрелов и гулкое эхо. Холидей, жмурясь, переломил двустволку пополам. Пустые дымящиеся гильзы выпрыгнули из укороченных стволов и, отскакивая, покатались по дощато-

му полу.

Большим пальцем он впихнул по патрону в каждую железную ноздрю, защелкнул дробовик и взвел оба курка.

– Черт, может хватит?! Я так и без глаз останусь!

Стрельба прекратилась.

Когда пороховой дым опустился, застилая пол, Холидей выглянул из-за угла и рассмотрел в дальнем конце коридора стекающие по стене брызги крови, оформленные в виде человеческого силуэта, который несколько мгновений стоял там, а теперь будто испарился, просочился в стены, оставив после себя только кроваво-красную потницу.

Он глянул на улыбающегося Хардорффа, который перезаряжал свой карабин.

– Дверь справа, – сказал иезуит.

– Будь оно все... Это я, Холидей!

Хардорфф наклонил голову с удивлением на лице. Холидей сплюнул и крикнул:

– Сложите оружие! Нет смысла продолжать перестрелку! Нас пятеро, а вас только двое! Ты со мной, маршал, человеколюбиво поступил, когда по мою душу пришел, хотя мог бы просто выволочь и пристрелить как собаку! Теперь я вижу, что ошибался в тебе!

– Ты забыл наше единственное правило, – напомнил иезуит с мерзкой ухмылкой.

Холидей не ответил ему:

– Пусть твой краснокожий выходит с поднятыми руками!

Песенка его спета, и сколько веревочке не виться, конец у нее один – петля!

Ответа не последовало.

– Продолжай, брат. Может, они прислушаются к голосу разума.

– Вам нечем стрелять, и я вижу, что ты ранен! Не надеетесь ведь отсиживаться за хлипкой стенкой до второго пришествия!

Горбоносый крикнул:

– Холидей, вшивый пес, это ты?

– Это я!

– Где длиннолицый?

– Одному богу известно!

– Ты его убил?

– Я от него удрал.

– Не верю. От него еще никто не убежал!

– Дело твое!

– Оставь оружие у своих приятелей и иди к нам!

Хардорфф и Холидей коротко переглянулись.

– Зачем это?!

– Я тебя пристрелю!

– Черга-с-два!

– С кем я говорю?! – громко спросил иезуит.

– А ты кто?

– Меня зовут Самуил Хардорфф, а ты кто?

– Мое имя у свиньи под юбками намалевано, загляни как-

нибудь, если интересуется, и пусть Холидей медленно идет по коридору!

– Не выгорит, сынок! Каковым бы ни был твой план, я гарантирую, что все кончится прямо противоположно!

– Это угроза?

– Прямая как дорога в ад. И даже прямее.

– Да?

– Будь уверен, сынок.

Горбоносый ответил:

– А ты, ублюдок, будь уверен, что живым я не дамся! Впервые меня без штанов поймали! Но спасибо господу, что мой старый приятель Холидей меня кое-чему научил! И я от сердца советую вам отретироваться восвояси! А если сунетесь, то ни бог, ни дьявол вас не спасут.

– Тебе нечего нам предложить, сынок. А вот мы можем. Сложи оружие! И пусть твой краснокожий выходит с поднятыми руками. Иначе мы убьем ребенка!

Тишина в ответ.

– Ты слышал, что я тебе сказал? Нам нужен только твой индеец!

Горбоносый выкрикнул:

– Черноногий не твоя опека!

– Да ну? Ты ему кто? Отец?

– Не отец.

– А кто?

– А ты как думаешь?

Хардорфф сплюнул:

– Теряюсь в догадках. Вот мне и любопытно, кто он тебе, что ты его в свою опеку записал. Дорогую цену заплатишь за неразумный ход!

Горбоносый хохотнул:

– Ты лучше другой вопрос задай!

– Какой же?

– Более уместный!

– И что за вопрос?

– Кто я самому себе?

Хардорфф смотрел в глубину коридора, кривя губы:

– А мне наплевать, кто ты самому себе!

Тишина. Они различили нарастающий смех.

– Над чем смеешься? Мы знаем про ребенка! Если черноногий сейчас же не выйдет, мы его уьем!

Горбоносый крикнул:

– Ты дурак! Мы никто друг другу. Черноногий сам по себе, и я сам по себе, и ты сам по себе! Кто ответит, что нужно мне? Кто ответит, что нужно тебе? Это ясно как божий день.

– Черт... Мне надоела твоя болтовня! – рявкнул Хардорфф. – Закрой свой проклятый рот и бросай оружие!

– Ты никогда не замечал, – донесся усталый, выдохшийся голос горбоносого, – что другие люди не причастны к твоим поступкам? Наверное, не замечал... – голос его становился все тише, так что последние слова он произнес уже наедине с собой. – Но когда-то и я заблудился в пустыне, чтобы меня

нашли чужаки. И как я могу не отплатить добром за добро.

Хардорфф крикнул:

– С меня довольно этой бессмыслицы!

Горбоносый ответил:

– С меня тем более! Один на один! Мое последнее предложение.

– Ищи другого дурака, сынок. Моя дуэль – выстрел в спину.

Вчетвером, кроме Холидея, они прицелились в коридор, ожидая с напряженным выражением на застывших лицах. Ничего больше не происходило.

– Где наш скаут? – спросил Хардорфф. – Пусть откликнется, если живой!

Молчание в ответ.

– Черт... Выходите по одному! Пусть наш скаут выйдет первым!

Минуту-другую они ждали ответа, но перестали слышать какие-либо звуки, кроме барабанной дробы дождя, а потом Хардорфф сплюнул и направился по коридору, хрустя отвалившейся штукатуркой.

– Я иду к тебе, сучий сын! И лучше бы ты сложил оружие! Или сдох!

Он уперся плечом в расщепленный комод и сдвинул его. За ним вышагивали трое братьев с револьверами наготове. Хардорфф заглянул в темную пустую комнату, где окно было открыто нараспашку, и врывающийся с ливнем ветер ба-

рабанил по полу. Иезуит выглянул в окно. На улице внизу под дождем мокнул окровавленный матрац с несколькими размытыми отпечатками босых ступней и ладоней с растопыренными пальцами.

Вдалеке он различил убегающую, подволакивая ногу, фигуру.

– Сучий сын! А ну стой!

Хардорфф вскинул карабин к плечу, но со спины на него бросился с ножом горбоносый. Он вогнал иезуиту лезвие промеж лопаток и они оба, перевалившись через подоконник, упали вниз и приземлились на матрац. Хардорфф завопил от боли. Горбоносый свалился на него, пачкая кровью из ран, пополз, обхватил иезуита мускулистыми ручищами, взвалил на себя, как молодую девицу и, голый по пояс, вращал нож в спине, словно рычаг.

– Самуил! – послышался крик сверху.

– Не...с...трел...ять! – выдавил Хардорфф.

Горбоносый прижал его к себе, заслоняясь им, подбородком расплющивая ему нос и одновременно стараясь выдавить левый глаз. Из окон на втором этаже высунулись стрелки с ружьями. Хардорфф, кривляясь, странно выгибая руки, пытался дать им знак не стрелять и одновременно с тем дотянуться до ножа в спине.

– Не стреляйте! Вниз, живо, мать вашу! – прозвучал злой голос сверху.

Горбоносый вгрызся зубами иезуиту в нос и изо всех сил

сомкнул челюсти. Горячая кровь наполнила его рот, залила обоим лица, и большие оловянно-серые глаза горбоносого, выделяющиеся на фоне перепачканной физиономии, вращались и мигали, когда он потянулся к декорированному скауту револьверу, заткнутому за ремень.

– Нет, нет... Черт! Где ты?!

Он не мог найти револьвер. Тот выскользнул у него из штанов, еще когда они перекувырнулись. Иезуит ужасно вопил и завывал ему в ухо. Горбоносый отпихнул его с себя, подскочил, с усилием выдернул нож из спины.

– Это тебе за черноногого!

Он быстро нанес ему короткий удар в шею, а затем напарил в размокшей грязи его карабин и побежал вслед за раненым черноногим. Да и сам он задыхался от боли и неожиданно накатившей усталости, приняв на себя еще тогда, в перестрелке, с десяток дробинок из ружья Холидея, и теперь весь был в крохотных черных кровоточивых дырочках, ощущая, что несколько дробинок сидят под ребрами особенно глубоко.

– Давай! Давай, мать твою! Шевели ногами!

Вдалеке он уже видел вечнозеленый ландшафт, что простирался за бархатистой озерной гладью и был испещрен, как фигурками игрушечных солдат, бесчисленными сине-зелеными ельниками, трепетными пихтами, соснами и туями. Те созвездия, которые еще не застелило массивное покрывало грозового фронта, очерчивались из-под него бледным силуэтом покойницких ступней. В отсутствии солнца и луны оку-

танный полуночной темнотой мир зиждился на хрупкой и абстрактной договоренности между светом и тенью.

Холидей постоял, глядя из окна на истекающего кровью иезуита, затем сплюнул и вошел в соседнее помещение, в котором пол наспех застелили одеялами и матрацами, тоже испачканными кровью.

– Ну и бойня.

Под окном, безжизненно понутив голову, с несколькими черными прорехами в пижонской рубашке, сидел застреленный паренек. Кровь капала из ран.

– Ты, что ли, их скаут? – спросил Холидей.

Он услышал торопливый разговор, приглушенный ливнем. Трое братьев с лошадьми стояли в тусклом свете из окна гостиницы, обмениваясь невнятными фразами. Один из них пнул труп, валявшийся на матраце, после чего все трое запрыгнули в седла и пустились галопом за федеральным маршалом.

– Ну удачи, ребята.

Дождь шлепал по листве. Грохот конских копыт заставлял землю вибрировать, как сердце загнанного зверя. Горбоносый нырнул в непроходимый березняк, привалился спиной к дереву, стараясь отдышаться. Послышались голоса.

– За ними! Живо! Где они?!

– Лошадь не ползет в эти чертовы дебри!

– Плевать! Давай за краснокожим!

– А куда он побежал?

– Откуда мне знать, черт подери? Слишком темно. Ни бельмеса не видать!

– Заткнись! Слух еще никто не отменял.

Горбоносый, стараясь не шуметь, побрел дальше по лесу. Его шатало из стороны в сторону. Струйки дождя бежали по телу, смывая кровь с мелких ран. Почти ничего нельзя было разглядеть. Сверкнула молния. Бледно-голубые стволы показались из темноты и мгновенно потухли. Он услышал голоса.

Сразу за ними раздались ружейные выстрелы и два револьверных. Жестяные и гремящие.

– Он меня подстрелил! – послышался протяжный, жалобный вопль.

Опять стрельба из ружей. Сухой треск простреленной коры и сбивчивое ржание лошадей. Горбоносый с каждым хрипящим вдохом ощущал, как в простреленном легком плавают дробинка. Он упал на колени, положил винтовку и пошарил ладонями в мокрой опавшей листве.

– Беги, малец... Беги...

Уткнувшись лицом в мягкий дерн, он пролежал так бог знает сколько времени, очнувшись уже на рассвете.

– Боже... – горбоносый поднялся. – Я жив? Что... Где...

Ливень уже прекратился, но ветер еще ерошил переливающуюся всеми оттенками красного листву над головой. Горбоносый взял винтовку и на подгибающихся ногах, бледный, дрожащий от слабости, побрел к озеру, чья поверхность

мерцала меж чередующихся тонких стволов. Берег был затянут предрассветной дымкой. На черной, покрытой мурашками от мороси озерной глади отражались крохотные бледные звезды, как разрозненные кусочки смальты. Стволы деревьев поскрипывали и качались, и горбоносый, опережая первые лучи солнца, спустился к воде, куда брели в дремотной тишине олени и одинокий вялый плечистый медведь, серовато-рыжий, будто пьяный от запаха крови, стоявшего в лесу. Мужчина умыл лицо и оглядел свои раны, из которых при каждом движении сочилась желтоватая сукровица.

Поднявшись, он пошел вдоль берега, распугав оленей. Дом с небольшим причалом, показавшийся из-за деревьев, выглядел мертвым. Горбоносый заметил пулевые отверстия в оконном стекле.

– Есть кто? Не стреляйте!

Он приблизился к дому. Дверь была вышиблена. Труп доктора с прострелянной головой лежал в коридоре. В руке пистолет. Еще один труп, которым уже занялись вороны, лежал неподалеку во дворе в луже грязи. Стояла тишина. В доме было пусто. Ни младенца, ни черноногого. Только следы кровавых ступней на полу и ладоней на стенах по пути в комнату с лекарствами и хирургическими инструментами. Горбоносый вышел на свежий воздух и уселся на ступеньке у порога.

Он хрипло дышал и слушал, как хлопают крыльями вороны. Больше ничего не происходило. Он улыбнулся и тихонь-

ко запел:

– О-о-у... А сколько ночей мне и сколько дней еще жить...
Взошло солнце, рассеяв дымку над горами.

– Прими меня, Отче, по весточке из голубиной почты, туда, откуда я родом... В страну радости и жизни...

За спиной скрипнула половица. Горбоносый усмехнулся и повернул голову, краем глаза заметив в полумраке дома длиннорослую фигуру в старом плаще и помятой шляпе.

– Я ведь говорил, что мы еще встретимся.